



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Николай Иванов

Артём Воевода – боец республики

Повесть 3

Олег Воропаев

Они молоды были...

Главы из романа..... 47

ПОЭЗИЯ

Валентина Дмитриченко

Стихотворения 43

Сергей Рыбалко

Стихотворения 157

Оксана Крис

Стихотворения 199

ЛЕГЕНДЫ

СТАВРОПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Татьяна Блохина

Скульптор Перетятыко 163

КРАЕВЕДЕНИЕ

Роман Нутрихин

Золотые клады Ставрополя..... 247

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Николай Маркелов

Забытые страницы

кавказской старины 203

Главный редактор

Владимир Бутенко



Литературное
Ставрополье
№ 3 (2022)



ББК 84(2Рос=4Ст)
УДК 821.161.1
Л 64

Редакционная коллегия:

И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова,
А. Куприн, Е. Полумискова, С. Скрипаль,
Т. Третьякова-Суханова

Л64 Литературное Ставрополье. Альманах № 3.
– Кемерово: ОАО «ИПП «Кузбасс», 2022. – 260 с.

ISBN 978-5-85905-651-4

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел. (8652) 26-31-50.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

АРТЁМ ВОЕВОДА – БОЕЦ РЕСПУБЛИКИ

Повесть

Глава 1 Нулевой день войны

– Хочешь почитать Чехова?
Майор, увешанный оружием так, словно собирался воевать вечно, посмотрел на Артёма и выставил на остаток кирпичной стены книгу пьес «Три сестры».

– Самостоятельная, сама стоит, – не забыл похвалить автора за толщину написанного.

Отошёл на десяток шагов и с разворота, практически не целясь, выстрелил из пистолета в книжную мишень. Сёстры, безмятежно гулявшие по центру обложки в белоснежных платьях, кувыркнулись припудренными носиками в пыль. Майор-артиллерист, словно за шиворот, поднял их двумя пальчиками, пролистал пробитые страницы. Отвесил шелбан пуле, застрявшей внутри книги, словно это она оказалась виноватой в плохом скорочтении стрелка:



НИКОЛАЙ
ИВАНОВ

Проза

– Вот так становятся двоечниками: всего 18 страниц. Попробуешь?

Протянул пистолет Артёму, сидевшему зрителем на снарядном ящике в артиллерийской «Отдыхайке», ставшей импровизированным летним театром. Пытался ловить головой тень от обтрёпанного ветрами, выгоревшего на солнце украинского флага, который вяло плескался на флагштоке в таком же выгоревшем, бледно-синем небесном озере, наполненном по краям пеной облаков, не давая тени. Когда же природа натянет на дождик? Народ ждёт с середины лета...

А по поводу оружия офицер явно шутил: кто доверит его незнакомому человеку, даже если это голодный безобидный пацан?

Но «Макаров» пусть и замедленно, с долей сомнения у хозяина, перекочевал к Артёму. Правда, артиллерист тут же выудил из-за ремня себе увесистого «Стечкина», по убойной силе и скорострельности способного трижды перестрелять «Макара», – оружие, как болезням, дают имена их прародителей. С улыбкой наставил его на поднявшегося с ящика Артёма: не вздумай баловать, не подводи меня. Скорее всего, где-то в мирной жизни у него остался сын, по которому майор скучал, и общение с задержанным около боевого охранения пареньком заглушало тоску по дому. Кто их знает, этих людей с оружием: скучая на войне по своим детям, легко убивают чужих...

– Мне бы жратвы бабуле раздобыть, – Артём кивнул на рюкзак, из которого при обыске выпотрошили нехитрые деревенские пожитки. А пистолет приятной тяжестью оттягивал руку, просился

в дело. Если и впрямь попробовать выстрелить в артиллериста, успеет тот нажать курок в ответ?

Отгоняя соблазнительные мысли, Артём втянул носом сытные запахи от костра, огненными языками шлифовавшего дно висевшего на треноге казана.

– Жратва у «нациков», – майор кивнул на лесополосу, где на фоне пожухлой листвы болтался, даже не пытаясь отмыться в небесном озере, чёрный флаг с остроконечной свастикой. Прибывший из Луганска, а по слухам, изгнанный из родных мест за мародёрство батальон «Азов» – только они могли позволить себе демонстративно признаваться в любви к Гитлеру. – Им не запахло грабить местных, а у нас казённый сухпай. Но голодным не оставим, – повторяя Артёма, втянул запах куриного бульона. Подмигнув, выдавая доверительным шёпотом военную тайну: – Всё, что отошло от дома на сто метров, считается диким и подлежит уничтожению. Огонь!

Пуля Артёма пролетела высоко над головами чеховских барышень, но те, напуганные первым выстрелом, сами от страха повторили предыдущий кувырок. Артём с сожалением вернул пистолет – не умею...

Майор по-детски улыбнулся своему превосходству, расправил плечи и, демонстрируя новые возможности, вытащил из чехла финку. Теперь уже тщательно нацелившись вытянутой рукой в щит из снарядного ящика, метнул в него нож. Остриё впилося в нарисованный углём круг, заставив бабочкой трепыхаться разноцветную инкрустированную рукоятку.

Опережая майора, Артём услужливо обошёл столик с разложенной на нём штабной картой, не без усилий вытащил из выщербленных досок нож. Повторяя какого-то героя из какого-то фильма, поцеловал лезвие: холодное оружие настоящим джигитом без нужды не вытаскивается, только для боя. Если его не случилось, то извинись перед сталью поцелуем и верни в ножны для следующего раза.

Артём принёс финку с уважением и к хозяину – рукояткой вперёд. Майор в ответную благодарность окликнул повара, пританцовывающего от жара у костра:

– Петро! Нам би з гостем трошки перекусити. І туесок збери, ніж багаті. І побыстрее, топчешься как квочка.

Военные легко переходили с русского на украинский и обратно, хотя именно из-за требования Киева говорить всем только по-украински и началась война на Донбассе. Или язык всё же был ни при чём?

А суп оказался отменный. Артём не помнил даже в мирной жизни случая, чтобы бульон варился сразу из нескольких кур, а мясо к столу подавали не мелкими ощипками, а на отдельном подносе: бери сколько хочешь, хоть три ножи. Но он возьмёт две, чтобы потом, как будто в первый раз, взять ещё и кусочек белой грудки – мясо из ниточек, как говорила мама. Больше съест он – меньше останется врагу.

Объедались молча, до отвала на спинки плетёных кресел. Салфеток не было, но облизать пахнущие мясом пальцы – и компота не надо. Хотя

он уже пощипывает за пятки пар, гоняя его, как по арене, по краям кружки.

Для полного счастья было бы здорово выцганить пистолет. А что, раз пошло такое везение, то можно помечтать и о подобном. Это майор думает, будто перед ним мазила-малолетка. А на последних соревнованиях он, Артём Воевода, перестрелял по очкам даже командира блок-поста. Помог, конечно, крёстный, научив коптить спичкой слепящее глаз остриё мушкуну...

– Что, понравилась игрушка? – майор перехватил взгляд на кобуру, вытащил «Макарова». Погладил костяную рукоятку с частым рубчиком, предусмотренным от скольжения в потных ладонях стрелка. У оружия ничего нет случайного.

– У нас на улице у многих что-то имеется. А у меня только рогатка, – посетовал Артём на нестроенную жизнь без оружия во время войны. Даже намекнул доброму артиллеристу, как обойти закон: – Пацаны сбивают номера, чтобы никаких следов. Зато чужие не суются. Знают, что получат по мордасам.

– И это правильно, – неожиданно поддержал народную самооборону майор. – Само оружие, брат, ни в чём не виновато. За всё отвечает тот, кто стреляет из него.

Повертел «Макарова» и, не вернув в кобуру, оставил лежать на столе. Стоявшие рядом автомат и гранатомёт словно подтверждали слова Артёма: если на улицах сёл и городов неучтённого оружия выше крыши, то что говорить про боевые позиции на фронте.

– Как супец? – майор спросил о более главном и отвалился на спинку театрального кресла. Может, и впрямь на пути артиллерийского полка попался какой-то театр, и теперь командир, войдя в роль главного героя, мог позволить себе сытно развалиться пусть и перед единственным, но зрителем.

– Вкусно – ум отъешь. Первый раз за войну наелся, – почти не соврал Артём. Вычистил корочкой хлеба тарелку: – Где помыть?

– У нас вон, рагуль есть для таких дел, – кивнул на повара, обозвав обидным прозвищем выходца из Западной Украины. Зря он так, у Артёма мамка тоже западенка, с Волыни. Он ездил туда к родственникам в гости до войны, нормальные люди. – А ты у меня в гостях, – так и не разрешил работать артиллерист, доставая сигарету.

Артём суфлёром вытащил спички – крёстный дядя Степан ещё до войны начал собирать их коллекцию: коробочки с ноготок всего на пару спичек, коробка на две тысячи штук. А треугольные упаковки Артём вообще впервые у него увидел. Как и круглые, словно из-под девичьей пудры. Имелась в коллекции даже стеклянная упаковка в виде банки. Спички на пластинах, отламывающиеся поштучно. Каминные спички в два пальца толщиной. Повторяющиеся образцы крёстный охотно дарил Артёму, что сейчас и пригодилось для демонстрации уважения пану майору, – поджечь сигарету горящей на любом ветру и даже под водой охотничьей спичкой. А в благодарность за обед можно поделиться с ним половиной коробка.

Майор охотно принял подарок, высыпал спички в сигаретную пачку. И, наконец, признался в понятном:

– Авось и моего сына кто-то покормит в случае чего.

Прикрыл глаза в воспоминании. Артём в освободившуюся минуту спокойно оглядел наблюдательный пункт со стереотрубой, выпученным удавом неподвижно осматривающей местность, столик с придавленной камешками картой. Пересчитал хоботы орудий с наброшенными на них кусками маскировочных сетей, штабеля снаряженных ящиков. Отнёс повару грязные тарелки. Петро потрепал ему причёску, поинтересовался:

– Родителей и вправду нету?

– Отец пил, умер, – подсочинил немного Артём. Где бы батю ни носило, но если жив и за время войны ни разу не показал глаз, то и впрямь для него умер. – А мамку... Мамку убило. Недавно.

Повар замер над термосом, в который переливал суп, чтобы нести обед для бойцов в окопах. Однако уточнять не стал, от чьего обстрела погибла мать парня. Догадаться было нетрудно, стреляют-то только они.

Артём легко уловил смущение доброго, бессловесного солдата, возрастом и повадками напоминавшего крёстного. Сам попробовал снять напряжение, обозначая место рождения матери в Западной Украине:

– На похороны приезжали её родственники с Волыни.

– О, почти землячка. Я из Тернополя, – порадовался, насколько это было возможно в данной

ситуации, Петро. Одновременно сумел и погоревать: – Война получается на одном клочке, а собрала всю Украину.

Оба понимали, что углублялись в слишком большую, не зависящую от их мнения тему, одновременно кивнули, понимая и прощая друг друга. Вернувшийся к столу Артём поклонился майору, в сладостном томлении от воспоминаний открывшему глаза:

– Спасибо, пан командир, – обозвал его на новый лад. Офицер дёрнулся на неожиданное для себя обращение, но промолчал. Не поправил. Значит, привыкает. Начинает нравиться быть паном... – Мне пора. Пока доберусь до дома, и комендантский час наступит.

Кашевар, которому бы по возрасту и впрямь сидеть бы на завалинке в ожидании внуков, уже наполнил супом трёхлитровую банку. Обмотал её от случайных ударов солдатским вафельным полотенцем, помогая гостю уложить подарок в рюкзак. Незаметно для командира запихнул ещё что-то наверняка вкусное в пакете на дно «сидора», подмигнул. И впрямь соскучились мужики по семьям.

Майор заметил излишки, и хотя и в шутку, но слишком уж привычно пнул повара ногой в зад. Петро безропотно вернулся к костру подбрасывать в огонь дровишки. Но руки дрожали: кому приятно, когда тебя пинают, как собаку, при делях...

Пану майору переживания подчинённого сошли как с гуся вода, он преподносил себя, подчёркивал свою значимость и независимость. Указал Артёму в сторону чёрного флага:

– Туда нос не совать. Отмороженные на всю голову. Если б не они, давно бы закончили эту канитель.

Это была уже политика, за которую на Украине карали тюрьмой, поэтому вернулся к отцовскому наставлению:

– И не вздумай бросать учёбу. Иначе уши надеру.

– Ладно.

– Не ладный горбатого к стенке, – присказки, оказывается, остались одни и те же по обе стороны фронта.

Майор прижал Артёма, поцеловал в макушку. Подтолкнул в рюкзак – иди, не сбивай с понтальку воспоминаниями и не мешай нести боевое дежурство.

Некоторое время грустно глядел вслед. Потом поднял книгу, перелистал пробитых «Трёх сестёр». Просмотрел остановившую пулю страничку – как смогла? Заглушая тоску по дому и сыну, попробовал читать. Действие постепенно увлекло, и майор, щелчком пальцев приказав повару приготовить чаю с вареньем, тоже «ушедшим» прямо в банках за сто метров от села, перенёс кресло под масксеть – и продувает, и не печёт голову. Тень от одноногого флага попробовала потянуться за ним, да только командиру стало не до него, зовущего в бой за чистоту украинского языка: увлечённый чтением русского писателя, превратился из вояки в добродушного мужичка, улыбающегося уголками губ.

Артём же, едва скрывшись за кустами, сделал крюк к лесополосе, идущей вдоль линии электропередач – к флагу чёрному. «Азовцы» веровали

в свою неприкасаемость, постов не выставляли, и Артём от акации к акации, от клёна к клёну, от кустов маслины снова к клёнам подполз к лагерю боевиков. Затих, вслушиваясь в голоса. «Нацики», если поймают, за обеденный стол не пригласят, скорее поставят вместо мишени. Так что на случай задержания снова придётся прикинуться голодной овечкой, а банку с супом лучше выбросить. Он грибы собирает. Вон, стайка рябодок вылезла в ожидании дождика.

Сорвал несколько бледно-розовых шляпок, распахнул рюкзак. И обомлел: поверх банки, укутанной солдатским вафельным полотенцем, лежал пистолет. Майор? Всё же подарил?! А патроны? Оружие без них – кусок металла, которым лишь заколачивать гвозди.

Выдавил магазин из рукоятки. Золотоголовые братья-близнецы подпирались снизу тугой пружиной, готовые нырнуть в ствол, подставиться под боёк и, воспламенев, умчаться на простор. И неважно, кто окажется на пути – «Три сестры» Чехова, «Идиот» Достоевского, «Война и мир» Толстого или даже сами авторы. Пуле за счастье освободиться от мёртвой металлической хватки затвора, вырваться из темноты, запаха подгоревшей смазки, расправить плечи, вздохнуть вольно и умчаться в простор. Что станет потом, после выстрела, – про то неведомо, ещё никто не возвращался из заствольной жизни обратно в магазин. Да и не для того они появились на свет, чтобы вечно жить взаперти! Много повидавшие в своей жизни солдаты утверждают, что лучше сгореть, чем сгнить...

Самому Артёму требовалось без грохота и спецэффектов возвращаться на свой блок-пост, доложить командованию о высмотренных боевых позициях на карте майора, скатертью-самобранкой расстелившейся на пути к мишени для метания ножей. Майор-артиллерист, конечно, добрый для жизни, но глупый для войны. Война – время закрытых ушей, глаз, рта, сердца и души.

Хотя шёл в этот район Артём не ради карты артиллеристов. Она случайна и второстепенна. Он ищет миномёты, и не все подряд, а конкретно «Васильки». Орудиям придумано множество красивых букетно-цветочных названий – «Гиацинты», «Тюльпаны», «Гвоздики», «Акации», а ему бы отыскать позиции самого простенького синего полевого «цветка». Потому что уже несколько месяцев из этого района каждое воскресенье ровно в 6 часов вечера, словно отбивая время вслед за курантами Спасской башни Московского Кремля, прилетают шесть «васильковых» мин. В первое воскресенье мая, сразу после Пасхи, одна из мин-курантов разорвалась у них в огороде, где мамка поливала проклюнувшиеся на грядке огурцы...

Не стало мамки, засохли огурцы, прошло лето. Самого Артёма крёстный приписал сыном полка к ополченцам, а какой-то маньяк продолжает упорно, как по расписанию, извещать выстрелами о нулевом дне – воскресенье. Сегодня как раз оно. И потому Артём здесь. И скоро 6 часов вечера. И у него появляется возможность высмотреть, откуда и кто стреляет. Скорее всего, это нашёл себе забаву «Азов». Теперь осталось увидеть, где

позиция. Никто никогда из разведчиков так близко не приближался к фашистскому батальону. А у него появилась возможность показать класс игры на патефоне!

– Микола, напиши «С пер-рльшим вер-рлесня». Нехай життя повчить, а не р-рлоссийску мову, – выделился в вялом гомоне лагеря властный командный голос, спотыкающийся о букву «р».

Кто там и кого хочет поздравить с первым сентября? Чем поучить жизни взамен русского языка?

Артём выбрал клён потолще, допрыгнул до веток, полез наверх. Рискаю сорваться с прогнувшейся верхушки, раздвинул ветви с резными листочками. За ними увиделись искажённые маревом жаркого дня фигуры солдат. Однако стоило взглянуться, и распознался боец, сидящий с кисточкой перед минами-крылатками. Это они – подарок к первому сентября? Снаряды – вместо русского языка?

Командир окликнул несколько солдат, те взяли каждый по надписанной мине и направились к узкоколейке, тянувшейся от террикона. Шестеро! Оно! Пока всё сходится.

Обдирая живот о кору и сучья, Артём соскользнул вниз, выхватил припрятанный в траве вместе с банкой супа пистолет. С усилием сдвинул вниз флажок предохранителя, передёрнул затвор, загоняя старшего золотистого братца в ствол. Пока не представлялось, что делать дальше, следует ли вообще приближаться к «нацикам», не хуже майора-артиллериста увешанных оружием. Эти ведь стреляют не по книгам, а сразу по людям. По его

мамке точно. 57 осколков насчитали в ней врачи! 57 из стандартных 400. Он изучил про «Василёк» всё!

Вид на узкоколейку перекрывала арка выщербленного каменного мостка, под которой протекал ручей. Проскочив его застоявшуюся вонючую прохладу, Артём сусликом высунул голову из ковыля, отыскивая «азовцев» с минами. Помог голос командира:

– Швыдка медична допомога.

Он не зря сравнил себя со скорой помощью: к ним со стороны террикона, разгоняемая двумя бойцами, по рельсам катила вагонетка. А на ней... на ней стоял миномёт. Короткоствольный «Василёк», распознанный по полёту мин крёстным дядей Степаном. Изучая осколки от мин, вымеряя для гарантии у воронок углы прилёта снарядов, убеждался всё больше и больше после каждого воскресного обстрела:

– Точно мой родной «Василёк». Два года наводчиком при нём состоял.

Сделал даже рисунок миномёта, припомнив практически все детали. И стрельба совпадала – от 800 метров до четырёх километров. Не только по прямой, но и с навесом, из-за террикона. И вот теперь Артёму стала понятна причина, по которой не могли засечь огневую позицию «часовщиков»: мини-бронепоезд! Стрельба каждый раз с нового места! И сегодня через каких-то полчаса мины с поздравлениями к новому учебному году полетят, возможно, в сторону его родной школы! Учителя, небось, как раз развешивают в классах карты и плакаты. Им стопудово помогают рыжая Валька Почечуева, Костик Алимов, Славик Непейвода...

Да он готов в алфавитном порядке перечислить весь класс. Правда, может кто-то и уехал в Россию от обстрелов, с мая не навещал ребят. Даже не знает, поставили ли ему годовые оценки. Беда в другом – он не знает, как спасти ребят, с одним пистолетом миномёт штурмом не взять. И даже если каким-то образом взорвать «Василёк» или просто вывести его из строя, «нацики» легко прикатят новый.

Миномётчики буднично загрузили на платформу боеприпасы. Оседлали, как ишачка, со всех сторон вагонетку, покатали на ней вдоль электрических столбов. Выбирать огневую позицию? Бежать следом? Но высунуться из сусликового укрытия не даёт картавый командир, оставшийся сидеть рядом с насыпью на деревянном чурбачке. Вытащил из нагрудного кармана мобильную рацию, глянул на часы. Артём торопливо сверил циферблат на своих: до стрельбы пятнадцать минут. Если ровно в 18 часов прозвучит по рации команда, то на топчане – точно он, убийца его мамки. И это лучше, чем взрывать миномёт. Оружие, как сказал майор, не виновато в войне, за всё отвечает тот, кто стреляет!

И даже не он, а тот, кто даёт команду на открытие огня!

Командир с картавым «р»!

Оглохнув от собственного слишком громкого дыхания, Артём стал подползать к картавому. До выстрелов – 7 минут. Часы у него «Командирские», с красной звёздочкой на тёмном фоне. Отцу подарил какой-то московский генерал. Батя гордился, что в Афганистане вытащил раненого командира взвода из-под огня. Тот остался жив,

дослужился до генеральских погон, а батяня... Эх, папка, папка! Зачем тебе была нужна эта водка! Куда ты сгинул? Ни ты ничего не знаешь про мамку, ни она про тебя так ничего и не выпытала у людей и милиции...

Миномётчик спокойно курит, сбивая пепел постукиванием пальца по отставленной в сторону сигарете. На чёрной майке по спине надпись огромными буквами «АЗОВ». Заглавная «А» напоминает мишень для метания ножей у майора-артиллериста и аккурат под левой лопаткой, где сердце. У него, Артёма Воеводы, финки нет, но на последних соревнованиях и впрямь перестрелял по очкам командира блок-поста, выбив две десятки из трёх. А сейчас у него в пистолете целая обойма близнецов.

Три минуты до стандартных шести выстрелов. Не война, а нервы и сплошная арифметика. Для первоклашек. Только вот школу сейчас разбомбят. Две минуты! А часы после смерти отца носила мама, они ей нравились крупным циферблатом. Когда после взрыва Артём подбежал к ней, смотревшей прямо на солнце, то сначала тормозил её, потом догадался приложить ухо к сердцу. Тиканье часов на оказавшейся рядом руке заглушило все остальные звуки...

Картавый поднял рацию, и Артём подставил под рукоятку пистолета вторую ладонь. Так меньше отдача, а это важно, если придётся стрелять повторно. А он будет. До последнего патрона. За мамку. В эту ненавистную букву «А», охотно лёгшую в прорезь прицела.

И тут совсем не вовремя на мушку опустилось солнце, девочкой на шаре забалансировав на её

отполированном острие. Закоптить бы мушку, как научил крёстный, но поздно спохватился! Глаз заслезился, совсем некстати стал стекать по спине и со лба липкий пот. Выгораживают убийцу, спасают от мщениа? И когда показалось, что ещё и время остановилось, «азовец», наконец, поднёс к губам рацию.

Он!

Больше не раздумывая и не сомневаясь, опережая картавый приказ на открытие огня и вылет мины-крылатки с белой школьной надписью, Артём нажал на курок.

Миномётчик, словно повторяя книгу Чехова, взмахнул руками-страницами и кувыркнулся с деревянной сидушки в железнодорожную гальку. Артём продолжал стрелять в неподвижное тело, пока пистолет желторотым птенцом не распахнул рот от недостатка пищи. Отбросив ставшее бесполезным оружие, Артём рванулся назад. По ручью. Под аркой. Вдоль линии электропередач. В лесополосу. У кленового наблюдательного пункта подхватил рюкзак. Полотенца, словно сползшие белые застиранные чулочки, оголили крутые колени суповой банки и, теряя секунды, он забрал и гостинец. Задирая ноги в высокой траве, рванулся прочь от автоматных очередей, раздававшихся у железной дороги.

Глава 2

Арестовать и выдворить в Россию

День окончательного окончания лета не радовал бойцов «Тэшки». Т-образный перекрёсток, у которого обустроился блок-пост ополченцев, про-

сматривался на все три дороги, и ни на одной из них даже в бинокль не виделось ни своих, ни чужих.

Нет радости на войне, если не возвращается с задания разведка. К тому же ушедшая в тыл врага самовольно, без приказа. Да ещё в возрасте четырнадцати лет. Завтра школа, а он...

– Лично расстреляю, – ласково-ласково, безнадёжно-безнадёжно шептал грузный командир, прошаривая в бинокль четвёртую сторону – нейтральную полосу в триста метров, которой международные наблюдатели разъединили воюющие на Донбассе силы. Эдакая «серая зона», где слово пропало время.

Но именно туда и ускользнул под покровом утреннего тумана приписанный к блок-посту Артём Воевода. И вернуться может только с этой, вражьей стороны. Всё бы ничего, не впервой, но сегодня вместо традиционного шестичасового обстрела на той стороне слышна внутренняя суматошная автоматная стрельба. И это наверняка связано с Артёмом.

– Ничего, Василь Матвейч, ничего, – на правах одноклассника назвал командира по имени-отчеству грызущий спичку Степан Самойлов. Дрын перегрызёшь, потому что это он привёл крестника на блок-пост после смерти кумы Марии. Опекал всё лето, а перед самой школой, выходит, не усмотрел. – Он в лапти кого хочешь обуе, – продолжал уговаривать скорее себя, чем начальника, в благополучном исходе дела. – Ты же знаешь, он и в мирной жизни ничего не боялся. Ни матери, ни ремня, ни крапивы, ни хворостины. Боец. Выживет, по жизни рак жаворонка не съест. Но по шее надаю.

Пока же отпихнул Шнурка, по собачьей настырности лезшего по ноге со дна траншеи, чтобы заглянуть в глаза и поинтересоваться, где пропал его хозяин.

Собачонку подобрал на руки санитар Ванечка, присланный руководством в Донецке налаживать медицинское обеспечение на блок-посту. Росточком едва не со Шнурка, белобрысый, лицом не старше Артёма, он поначалу вызвал у «Матвея» такой прилив ярости, что тот, не стесняясь присутствия нового бойца, оборвал телефонную трубку:

– Я просил врача, а не санитаря! И мужика, который может перетаскивать раненых... Я понимаю, что нехватка, но перевязывать раны мы сами наловчились и здесь у меня нет проблем. Мне как людей лечить, когда в аптечке один аспирина? Или анальгин, чёрт его знает...

Бросил трубку, несколько мгновений молча ругался с ней матом, но закончившего медицинский колледж парня обратно в Донецк не отправил. Не до жиру. А лишняя порция макарон с тушёнкой найдётся. Те, кто мог реально помочь с медициной, или охранялись как зеница ока в городах, где валились с ног в операционных от перенагрузок, или сбежали в Россию, Польшу, Венгрию и далее везде. Ванечка не сбежал и сам напросился на передовую. Толк от парня будет, но почему через врачебные недоработки или даже ошибки на шкурах его подчинённых? Но молодец, первым прибежал в готовности применить все свои возможные навыки, если они потребуются.

О подзатыльниках Артёму мечтал и часовой, поверивший ему на слово и пропустивший через

боевое охранение, а в итоге получивший от командира за ротозейство по первое число. А с каждым часом отсутствия разведчика – и по второе, и по третье...

Всем хотелось поторопить время, но через день в этом мире никто ещё не перепрыгнул. Это Шнурок может переспать сутки и спокойно после этого пойти по собачьим делам, не спросив ни час, ни день недели...

– Собирайся, – вдруг приказал командир Степану. Тот с готовностью перебрал в руках автомат: да, что-то надо делать. Собирать ударную группу... – Поедешь в Москву.

Самойлов недоумённо впился взглядом в «Матвея», поневоле вспомнив субординацию и позывной командира. Какая Москва? Она отсюда, из окопов «Тэшки» по своей недостижимости могла соперничать хоть с Луной, хоть с Марсом.

Василий Матвеевич не стал интриговать:

– Помнишь, там в Генштабе Колькин товарищ служит? Я ещё по весне просил его пристроить Артёма в суворовское училище. Зацепка-то у него хорошая – родился в Москве. Во времена были. Золотые.

– Турпоездка от шахты, катер по Москве-реке... – вспомнил Степан давнее, общее на троих время.

Потому, собственно, он и стал кумом, что носился по столице вместе с Колькой Воеводой, ставшим раньше срока отцом, в поисках всего необходимого для роженицы и малыша. Как далеко ушло время! И Колька, дурак, запил настолько, что бросил семью, подался бродяжничать вроде бы в Киев, а со временем вообще затерялся. И майдан в тех воспоминаниях не случился, и вой-

ны тогда ещё не разыгралось, и Мария жила, а не имела табличку на кресте. Не имелось, собственно, и разницы, кто где родился и на каком языке говорил. По крайней мере, у них на Донбассе...

Новая вспышка стрельбы за «серой зоной» вернула к реальности. Ванечка передвинул на живот медицинскую сумку, расстегнул.

– Но ведь сбежит, стервец, на первой остановке, – спокойнее отнёсся к бою на вражеской стороне Самойлов. Или делал вид, чтобы не представлять, как стрельба относится к крестнику...

– А ты зачем? Передашь с рук в руки.

Строили планы и козни так, словно Артём сидел в столовой и ел кашу...

А он, путаясь в жёсткой траве, из последних сил бежал к террикону. Там в ямах-копанках, нарытых местными жителями в поисках металла, в обильных зарослях белой акации, которую чуть ли не с первого класса они высаживали для укрепления породы, в непролазной полыни можно спрятаваться. Только вот огонь автоматов приближался слишком быстро. А если «нацики» пустят в погоню ещё бронетранспортёры... Это для артиллерии они как алюминиевые танки, но скорость-то по бездорожью непревзойдённая. Догонят...

Нога подвернулась, и он со всего размаха, не хуже расстрелянных чеховских сестёр вкупе с командиром миномётчиков, ткнулся носом в землю. Она щедро, словно Артём был скаковой лошастью и требовал подкормки, сунула ему в рот охапку ковыля. Отплёвываясь, порезав язык и губы острыми лезвиями стеблей, со страхом осознал, что далеко ему не убежать. Ни от БТР, ни от автоматчиков не улететь на ковре-самолёте, не

скрыться в тайных подземных ходах. Даже утреннего тумана нет, не говоря уже о дымовой завесе...

Встрепенувшись от озарения, захлопал по карманам. Спичечный коробок оказался на месте! Счастье, что пожадничал и не подарил его весь в порыве благодарности майору-артиллеристу.

Широким охватом наклонил звенящие от солнечного накала, иссушённые стебли. Поднёс спичку к коричневым ковыльным метёлкам. Те охотно подсунулись под огонь, затрещали бенгальскими искрами, по-новогоднему щедро делясь пламенем с соседями. Ветерка вполне хватило для поддува, несколько огненных разгоревшихся языков даже бросились по-детски неистово обниматься с хозяином, и услышавшему треск подпалившихся бровей Артёму пришлось отмахиваться от всполохов, как от назойливых слепней. Зато изнывающей от жары степи приспело в радость хоть что-то изменить в опустылевшей от однообразия жизнь. И роли уже не играло, ливень обрушится сверху или пойдёт гулять по её просторам пожар.

Артём пробежал вперёд, поджигая всё новую и новую траву и придавая огню нужную линию и направление. Пожар оказался верховым, нижняя трава, ещё сохраняющая некоторую зелень и островки белёсой полыни, только дымила, но это как раз и было важнее всего. Террикон манил защитой, его срезанная верхушка подсказывала, что вокруг живут люди: пики уменьшают, чтобы не платить жителям за превышение экологических норм. Но там и надежда на спасение!

Однако беглец нашёл в себе силы отвернуть от горы и вновь податься к лесополосе. К самому её хвосту, где в редком ситечке деревьев его точно

искать не станут. Полезут именно в заросли акации и в копанки, в гаражи, полынь и частный сектор. А он дожждётся темноты и спокойно выйдет к своим. Вот Матвейч обрадуется добытым сведениям...

«Матвей» захлопнул наручники на запястьях Артёма, едва того с обгоревшими бровями, с красными от дыма и бессонницы глазами и распухшими от порезов травой губами привели в штаб после полуночи.

– Запереть! Не спускать глаз! – взревел вместо «ура» и обнимашек командир.

– Я супчика принёс. Бульончик, – растерянно пролепетал Артём, но подарок ещё больше разъярил «Матвея».

– Какой к чёрту супчик! – грохнул он кулаком по столу. Неизвестно по какой взаимосвязи качнулась на проводе и замигала лампочка, заставив присутствующих замереть. Даже прыгавший рядом от счастья Шнурок плюхнулся на поджатый хвост. – Нервы в ошмётку и язву желудка ты всем нам принёс, а не бульончик!

– Товарищ командир...

– Я командир для тех, кто исполняет мои приказы, а не самовольничает! Под арест!

Артём сжал до боли губы. А вы, товарищи начальники, знаете, где он был, что видел и испытал! Его сто раз могли убить «нацики», но он сам отправил на тот свет воскресного картового маньяка. Что же сами не сделали этого за всё лето? Ждали, когда он пойдёт в самоволку? Но теперь он точно ничего никому не расскажет. И про карту артиллериста тоже, потому что майор – нор-

мальный мужик и предавать его западло, хоть он пан и враг. А утром, когда у «Матвея» кончатся психи, он уйдёт со Шнурком на другой блок-пост. Или перейдёт линию фронта и станет воевать один. Справится. И получше, чем под чьим-то присмотром...

Силы, мысли и обиды кончились, едва голова коснулась подушки, а Шнурок свернулся калачиком за спиной, прогревая её хозяину до живота. Не услышал и не почувствовал, как запанцирил по крыше долгожданный дождь, как сняли наручники и укрыли одеялом вместе со Шнурком. Мог, возможно, проспять целые сутки, но подъём на блок-посту – он общий и для арестантов.

Вошедший в землянку крёстный выпустил собаку, протянул Артёму миску с подогретым трофейным супом. Тот потянулся за ложкой, но в памяти всплыл холодный ночной приём и он демонстративно задвинулся в угол нар. Он не станет ничего есть, пока... пока... Даже если командир, по большому счёту, и прав, но арестовывать как жулика или предателя...

– Ешь давай, – не принял обидчивого выражения лица дядя Степан. – Дорога дальняя.

– Какая дорога?

– Асфальтовая. Едем в Москву. Спички покупать. Вон, осень наступила, для костров потребуются...

Прозвучи известие в другой день, можно было подпрыгнуть от радости до бревенчатого потолка. Но сейчас Москва таила подвох, и никакие спички ситуацию не спасали. Поэтому никуда он не поедет. К тому же надо посмотреть, не заменит ли кто картового в следующее воскресенье. Вдруг

найдётся новый желающий продолжить традицию? А кто знает, где и как это происходит? То-то. А он, если потребуется, готов вновь добратся до узкоколейки и уничтожить любого отдающего команду на стрельбу. А ещё научится метать ножи и тогда пусть попробуют взять его...

– Я не поеду, – сообщил крёстному Артём. Под арестом вечно держать не станут, в конце концов, подкоп сделает. А кто хочет, пусть едет хоть в Москву, хоть в Киев. Он же сам решит, чем заниматься.

Утвердиться в принятом решении не дал вошедший в землянку командир. Опережая вернувшегося Шнурка, присел на нары, обнял Артёма и дружески похлопал по спине. А вот это лишнее. Спину всю ночь грел и прикрывал Шнурок. Он не предаст...

Словно подтверждая грустные выводы, «Матвей» после ласки снова захлопнул наручники потерявшему бдительность Артёму. И подтолкнул к двери: пора!

Солнце, растолкав локтями ночные дождливые тучи, вывалилось в бездонный небесный провал на окопы, пулемётные гнёзда, ходы сообщения. Рискую получить по лбу обитой войлоком дверью, попыталось даже заглянуть в землянку: я здесь, меня рано списывать со счетов. Ещё почти лето, ещё можно смотреть на мир с улыбкой.

Однако выстроенный перед землянкой личный состав «Тэшки» смотрел на Артёма с сожалением.

– Товарищи, – не давая подчинённым времени на разговоры, командир приобнял парня. Тот дёрнулся, освобождаясь от лживой командирской

заботы, но «Матвей» пальцев не разжал. – Вспомним: сегодня первое сентября. Давайте поздравим Артёма с началом учебного года.

– А наручники причём? – раздалось из строя. Ополчение – это не воинское подразделение, бойцы взяли в руки оружие по внутреннему убеждению, а не по призыву. И таким не прикрикнешь, чтобы отставили разговорчики в строю!

– Гав! – подтвердил недоумение с левого фланга и Шнурок.

– А это Артём сам попросил так сделать, – пальцы командира сжались на плече арестанта так, что тот присел от боли и согласно закивал. – Знает, что по своему характеру может сбежать даже от крёстного. Но при этом он умный парень и прекрасно понимает, как важно учиться. Война когда-то закончится, и Республике потребуются грамотные офицеры, способные защищать её, когда мы с вами уйдём на «дембель». Вот Артём Воевода и попробует поступить в суворовское училище. Пожелаем ему удачи и возвращения с офицерскими погонами.

Ополченцы захлопали, заставив взлететь с веток птиц и перемяться застывшими лапами собачку. На дороге, словно аплодисменты послужили сигналом, завёлся «уазик». Подошедший Степан Ильич показал командиру синюю папку: документы сопровождения готовы. Сослуживцы выстроились в очередь обнять отъезжающего счастливого, хотя и сжатого мёртвой хваткой командиром.

– Не обижайся, – впервые с вечера соучастно прошептал «Матвей» на ухо Артёму. Даже ослабил плечо. – Не подведи нас в России. Помни

всегда: ты – боец Народной Республики! Пройди всё с достоинством. А мы... мы будем скучать за тобой.

За такие слова обнять бы Василия Матвеевича, но оковы не разжались, напоминая Артёму об его унижительном положении. Неужели нельзя было по-человечески всё решить? Конечно, он бы всё равно сбежал, но чтобы так, как шелудивого кота, изгонять с войны... Хорошо, вывозите, но на границе он всё равно помашет всем ручкой. Даже без документов из синей папочки. Мало ли домов и бумаг сгорело у людей во время обстрелов. Выпишут новые...

Ничего из происходящего не понимал лишь Шнурок, заискивающе заглядывающий в глаза каждому. Так и не выросший по размерам во взрослую собаку, пёс сердцем чувствовал тревогу хозяина. Перед посадкой в уазик прыгнул на грудь Артёма, принялся лизать лицо, заскулил. Командир с усилием оторвал дворняжку, прижал барабанившие воздух лапы. «Но ведь всё хорошо, всё в порядке»? – умоляли подтверждения собачьи глаза.

– Всё хорошо, – подтвердил «Матвей».

Шнурок не поверил, вырвался и помчал, истошно лая, за машиной. Не давая Артёму оглядываться, Степан Ильич привалил его к себе, закрывая уши.

– Ты жди, я вернусь, – прокричал прижатый к прикладу автомата Артём. Вырваться не получилось, он укусил волосатую руку крёстного, но тот перетерпел боль, не ослабил хватку. – Всё равно убегу, – пригрозил уже конвоиру.

Однако связи у «Матвея» оказались настолько высокие, что наручники крёстный не снял даже при пересечении границы. Пограничники что свои, что на российской стороне читали какую-то бумагу, улыбались и давали «зелёный коридор» конвойной парочке.

Ключик на «браслете» щёлкнул, разъединяя металлические кольца на запястьях, лишь когда уселись в автобус до Москвы. Прижатый к окну Артём уткнулся лбом в стекло, не реагируя ни на слова крёстного, ни на подсовываемые бутерброды. Хоть в тундру вывезите, хоть в пустыню, а он всё равно вернётся домой. При малейшей возможности.

Она случилась только в Москве на автовокзале! Уверовав, что крестнику отныне деваться некуда, Степан Ильич в ожидании открытия метро припал к киоску, высматривая за стеклом диковинные коробки спичек. Прибросил в уме непредвиденную растрату, внутренне согласился на неё и указал на коробок с тиснёной прессом этикеткой Кремля:

– Мне этот.

Клевавшая носом молоденькая продавщица попыталась дотянуться до товара через стеклянные полочки, порушила витринную выкладку товаров и обессиленно опустила руки:

– Может, вам зажигалку дать?

Степан Ильич, опьяненный мирной Москвой, с улыбкой замотал головой:

– Не-е-ет, девушка. Не могу. Меня попросили поджечь Московский Кремль именно спичками, а вы мне подсовываете зажигалку. Давайте уж достанем.

Достала. Но не успел любитель огня нарадоваться добычей, как ему на плечи легли сразу две руки:

– Гражданин. Пройдёте!

Дёрнувшийся из рук полицейских Степан Ильич ещё больше усугубил своё положение, и на глазах у Артёма уже ему в одно мгновение захлопнули на запястьях наручники. Это показалось смешно, потому что крёстный просто пошутил с поджогом, стражи порядка сейчас во всём разберутся и отпустят. Но как всё быстро меняется в этой жизни! Одно неудачное слово, и конвоир сам превращается в арестанта. А вот побудь, крёстный, сам в этой роли. Ощути, каково это, лишаться свободы...

Что объяснял задержанный полицейским, как умолял быстрее отпустить его, потому что приехал не один, но долго держать не стали, выпустив с действительно вежливым напутствием подобным образом в Москве больше не шутить.

А вот Артёма ни в зале ожидания, ни у киоска, ни на перроне не оказалось. Помочь мог только закон потеряшек: возвращаться на то место, где виделись последний раз. Киоскёрша, узрев идущего к ней возбуждённого «поджигателя Кремля», начала судорожно искать глазами стражей порядка и опускаться под прилавок. Можно и нужно было напугать бдительную девочку ещё чем-нибудь до смерти, но... но Москва не только слезам не верит, но и шуток не понимает. Полез в карман за оставшейся с дороги конфеткой, но и этот жест нёс для девочки угрозу, и она гильотиной опустила стекло в амбразуре окошка.

Эх, девочка, людям надо верить!

Заранее смущаясь всеобщего внимания, Степан Ильич огляделся и спросил громко, сразу ко всем на станции обращаясь:

– Люди, кто-нибудь видел пацана в синей ветровке? Брюки цвета хаки. С Донбасса, – зачем-то уточнил адрес.

На слово «Донбасс» пассажиры среагировали, стали сонно переглядываться, но и это не помогло выйти на след исчезнувшего бойца Республики. Пацан сказал – пацан сделал, потому что Донбасс порожняк не гонит...

– Дурак, – прошептал Степан Ильич, и было непонятно, относилось это к крестнику или к нему самому.

Он откровенно не знал, что делать. Предупредить всех водителей о возможном пассажире? Или сначала добежать до метро, которое открывается через несколько минут? Но у Артёма нет денег и ехать ему некуда. Значит, будет прятаться и выжидать где-то рядом в кустах?

– А я думал, вы меня бросили, – раздалось за спиной, и Степан Ильич опустошённо прикрыл глаза. Нашёлся! Убить или обнять шутника?

Не оборачиваясь, чтобы не выдавать слёзы, повторил полицейского:

– Больше так в Москве не шути!

Народ на станции начал разбираться с вещами: метро готово было развезти гостей столицы в любом направлении. Посланцев Донбасса интересовал Генеральный штаб со станцией «Арбатская». Как будет здорово, если всё получится. Должно получиться, если идти по былям, то есть по правде жизни. Не с гулянок ведь приехали.

Здравствуй, Москва.

Глава 3

Взвейтесь, соколы, орлами...

– Ну что, прощайся с Москвой!

Степан Ильич обнял Артёма. Тот, ещё вчера мечтавший улизнуть от него в любую мало-мальскую щель, вцепился в рукав: никуда он не хочет ехать. Ни в знаменитый город оружейников Тулу, ни в только что созданное там суворовское училище. И никакими алыми погонями его не заманишь. Он готов просить прощения у всей «Тэшки», но вернуться домой и беспрекословно слушаться «Матвея». Делая первый шаг к этому, рассказал во время томительного ожидания у стен Генштаба крёстному про свой поход к нацикам, шахтёрскую вагонетку, как поджигал его спичками степь.

Крёстный то с недоверием, то с восхищением, то с запоздалой тревогой смотрел на Артёма, сопоставляя своё и командира поведение на блок-посту с тем результатом, который выдал на-гора парень...

– Пора, – поторопил кружившийся вокруг толстенький капитан, посланный начальством сопроводить нового суворовца до места учёбы. Наверняка не терпится вернуться обратно засветло...

Трудно сказать, что и как решали в Генштабе, какие доводы приводил в своём письме по спасению сироты-разгильдя «Матвей», но все документы оказались оформленными за день. И это при том, что зачисление в училище шло только с личного приказа министра обороны! А тут ещё выделили Артёму сопровождающего. Или опять

надзирателя? Ему теперь вечно ходить под конвоем?

– Это не по благу, – успокаивал Степан Ильич, хотя Артём и не думал искать причины благосклонного к себе отношения. – По протекции ищут тёпленькие места, а ты у меня... Ух!

Капитан-колобок знал про «Ух!» всё, хотя в данный момент Самойлов имел в виду похождения крестника в тылу врага.

– Суворовцы звёзды с неба не хватают, они их на плацу подковами куют.

Степан Ильич представил огромный строевой плац, по которому с утра до ночи маршируют пацаны, и сам поник. Может, и впрямь погорячился «Матвей», отправляя парня в суворовское? Закончил бы свои 10 классов в родной школе, а потом жизнь подскажет, в какую сторону шагать. Говорят, в Донецке вот-вот откроют кадетское училище, можно было бы туда попробовать устроиться. А тут как-то не по-родственному, не по-соседски получается...

– Всё придёт в норму, – продолжал отслеживать настроение спутников капитан. Похоже, не первого возил «ковать» звёзды. – Вот ты в любой момент можешь стать таким, как они, – указал Артёму на проходивших мимо ребят, – а вот они суворовцами – уже никогда. Зацени.

Заценил Самойлов. Чтобы не дать слабину, не дрогнуть и не забрать крестника обратно, вывинтил руку из мальчишеской хватки. Оставшийся без опоры Артём опустил плечи. Всё! Ему теперь всё до лампочки, что постоянно гаснет в штабной землянке. Скорее всего, неплотно вкручена. Но попросил о единственном, глядя мимо крёстного:

– Покормите Шнурка. Он яичницу любит. Горячую. Чтоб обжигаться. И выстрелов боится. Не выпускайте из землянки при обстрелах.

Отстранился от подавшегося к нему Степана Ильича: ни к чему показные сантименты. Поздно. Если отрелкись, если с глаз долой и из сердца вон, то и нет больше разведчика Артёма Воеводы. Делайте что хотите сами. Воюйте сами. А он...

Пошёл к вагону электрички. Не обернулся, даже когда крёстный сунул ему на ходу в карман своё московское счастье – коробок спичек с этикеткой Кремля. И когда постучал по окошку, оставив на пыльном стекле отпечаток ладони, и даже когда побежал за поездом – не повернул головы. «Из сердца вон, из сердца вон, из сердца вон», – застучали с нарастающей скоростью колёса. Замелькала за стеклом долгая-долгая окраина Москвы, потом пригороды, лесополосы, валки соломы на золотистой стерне скошенных полей. Всё отрезало его от прежней жизни, от могилы мамки, «Тэшки», Республики. Разносившая чай проводница дважды протягивала ему стаканы, но он выставлял локоть, занимая всё пространство на столике, куда могли бы поставить угощение. «С глаз долой, с глаз долой, с глаз долой»...

Эта монотонность неожиданно сладко налегла на бессонную дорожную ночь, голодную суматоху Москвы. Артёму даже не пришлось сопротивляться – голова сама свалилась на грудь, плечо ткнулось в отпечатанную ладонь крёстного на оконном стекле.

Разбудила ладонь капитана:

– Прибыли.

Поспать дал до последнего – пассажиры практически все уже вышли. Из соседнего вагона выгружался какой-то гастролирующий оркестр, грохот от тележек носильщиков перекрыл остальные звуки, и капитан прокричал на ухо Артёму как равному:

– Всего семь нот, а грохоту!

К ним самим спешил майор в камуфляжной форме, и хотя колобок имел звание ниже, туляк отдал ему честь и представился:

– Начальник учебного курса, командир роты майор Кубышка.

Артёму не понравились ни фамилия, ни подобирастие майора. Старшинство в суворовском определяют не звёздочки на погонах, а столичная прописка?

Пока протискивались к армейскому «уазику», затёртому подскочившими к поезду бодливыми такси, офицеры о чём-то переговорили, и в машине Артём оказался без московского сопровождающего. Тот лишь кивнул на прощание и покатиł горошиной в машинном лабиринте обратно к поездам. Майор усердно кланялся ему вслед.

Подобное его внимание перенеслось и на Артёма: если привезли нового суворовца после 1 сентября, да ещё в сопровождении генштабиста, то воробышек не простой и на всякий случай лучше лишний раз выказать ему своё уважение.

– А не поехать ли нам сразу на стрельбище? У твоего взвода как раз полевой выход, – предложил Артёму. – Во время летних лагерей неделю пропустили, дежурили в училище. Наверстываем

на полигоне ДОСААФ. Так что сразу в боевой обстановке и познакомишься со всеми. Идёт?

Какая боевая обстановка могла быть под боком у Москвы? «Пуф-паф» деревянными автоматами, как у них у самих в сельской школе до войны? Смешные люди. Побегали бы под пулями среди терриконов...

Стрельбище встретило опущенным шлагбаумом с дрожащей гирляндой капель от начавшего накрапывать дождика. Возрастной часовой, укрывая поданный ему путевой лист от непогоды локтем, долго изучал подписи, потом растерянно пожал плечами:

– Пропуск на стрельбище – он вроде не такой, но дата сегодняшняя...

– По дате и работаем, – подбодрил майор охранника из частной компании и властно махнул – открывай ворота. Путевой лист на выезд из автопарка училища и пропуск на стрельбище ДОСААФ – документы и впрямь совершенно разные, но откуда знать такие детали людям, набранным в частное охранное предприятие с миру по нитке. Сам при этом по-детски обрадовался, что удалось обвести вокруг пальца стражу. Важному же пассажиру подмигнул: – На обратном пути накажем за ротозейство. Вот только наших что-то не видать. Боятся раскиснуть?

Опровергая сомнения, из-за наблюдательной вышки показался промокший насквозь строй. Впереди, стараясь не расползтись на мокрой глине, траурно нёс на согнутой руке кепку долговязый суворовец. За ним брели четверо таких же скользящих по дороге ребят, удерживая на пле-

чах носилки. Остатки взвода изображали похоронную процессию, бубнившую траурный марш.

Увидев командирский «уазик», колонна остановилась. На ходу надевая каску, к гостям подбежал щупленький капитан. Гвоздиком замер для доклада:

– Товарищ майор, третий взвод шестой роты проводит занятие по огневой подготовке.

– Это огневая подготовка? – майор рыком забил «гвоздик» в мокрую землю по самую каску.

– Это перерыв, товарищ майор, – каска в ожидании очередного удара молотобойца вжалась в плечи. – Кто-то во взводе закурил сигарету. Признаний не поступило. Производятся похороны окурка.

Майор кивнул Артёму – выходи. Вникай в происходящее и сам подобного никогда не делай.

– В таком случае я вам копача привёз на подмогу, – сообщил с радостной хитрецей для всех. Суворовцы исподлобья оглядели свеженького, холёного по сравнению с ними новичка. А командир вдруг перешёл на шёпот, заставляя подчинённых вслушиваться в каждую букву. Тихий голос командира – он зловец для провинившихся: – Кто курил, я всё равно узнаю. Так что лучше сделать это сейчас и добровольно. Потому что перед вами замена: одного вывожу из строя, другого ставлю. – И без перехода взревел: – Поднять головы!

Но даже при такой команде суворовцы посмотреть на майора не осмелились – впились взглядами в новенького, за счёт которого они потеряют сейчас товарища. Вполне возможно, что могли пускать сигарету по кругу и тогда виноват каждый...

Артём кроме презрения ничего не увидел во взглядах сверстников, а долговязый, благо стоял дальше всех, даже сплюнул.

«Я никогда не буду с ними», – дал себе зарок Артём, сдерживаясь из последних сил, чтобы не опустить голову под множеством взглядов. У них своя жизнь, у него свои планы. Пусть презирают кого угодно, а он просто уедет воевать за свой Донбасс. Вот и будет каждому хрен да ни хрена.

Майор покачивался с носков на пятки, и все понимали, что чем больше командир промокнет, тем яростнее последует наказание.

– Старший вице-сержант Чумаков.

– Я! – шагнул из строя долговязый с тремя лычками на погонах. Похоже, звания и должности здесь выдавались ещё и в зависимости от роста.

– В армии за всё отвечает командир. Надоело носить лычки? Поможем снять. Суворовец Артём Воевода!

– Я, – подчиняясь общей субординации, выступил вперёд Артём. Хотя какой он суворовец...

– Ты один получаешься вне подозрения. Принимай командование. Считай, что завтра-послезавтра будет подписан приказ о назначении тебя заместителем командира взвода.

Майор имел право экспериментировать в поисках лидера, стажировать в роли командиров своих подопечных, а здесь ещё и сам играл в Макаренко и Сухомлинского, вместе взятых, видя в суворовцах современную Республику ШКИД. Только вот всё неприятие «шкидовцев» сошлось на новеньком. Артём чувствовал это кожей, покрывшейся пупырышками то ли от дождя, то ли от недруже-

любных взглядов будущих однокашников. Неужели майор не знает, что в стае нельзя кого-то одного делать сизым голубем? Или он просто хочет продемонстрировать свою всеильность и лояльность ему, как важному новичку?

– Последний раз требую: кто брал в руки сигарету – шаг вперёд. Будете упорствовать – последует отчисление!

Ещё ничего не осознавая до конца, Артём бездумно сделал шаг вперёд. Брезгуете им, господа кадеты? Так он не то что командовать, а вообще не намерен быть с вами быть. Курите хоть гусиный помёт, как они у себя в посёлке, выкручивайтесь, как хотите, а он...

Артём сделал и второй шаг, но не на место долговязого, как предписывал приказ командира, а к носилкам. Снял с их деревянного мокрого настила сиротливый, мокрый не хуже носильщиков окурок. Оберегая от расползания, мягко взял губами. Спичечный подарок крёстного с Московским Кремлём как нельзя кстати лежал в кармане. Повторяя поджиг донецкой степи, защищая огонёк от непогоды, Артём поднёс его оранжевый горб к сигарете. Спасая хозяина от наказания, огонь без особого рвения лизнул мокрые бока окурка и, не готовый предавать или становиться причиной нового наказания, свернулся, захирел на своей деревянной ножке.

Не приняв жертвы, Артём чиркнул новой спичкой, и уже та, не желая повторять судьбы выброшенной в грязь предшественницы, огненными щипцами обхватила с двух сторон бумагу. Та задымила, и разогревая табак, Артём втянул в себя горький дым.

Он не видел растерянного взгляда майора, ещё более недоумённых взоров третьего взвода шестой роты во главе с блестящей от дождя каской капитана. Втягивал и втягивал в себя дым – но при этом легонько, чтобы не закашляться и не выдать, что не переносит запаха сигарет с времён, когда приходил домой с сигаретой в зубах пьяный отец. Тогда, опасаясь попасть под его горячую руку, Артём забивался под кровать. Темнота, теснота, боязнь мышей и тараканов заставляли сжиматься до размеров стучавшего сердца, но бушевавший, прокуренный отец был опаснее. Плакала и кричала мама...

А здесь разве страх? Наоборот, чувство облегчения, что его отправят обратно домой. На законном основании. А эти московские и тульские щёголи с алыми погонами пусть упьются своим презрением. У него, Артёма Воеводы, под обстрелами осталась могила мамы. И голодный Шнурок...

Окурок обжёт губы. Всё же закашлявшись, Артём растёр остатки табака пальцами и только после этого поднял голову. Суворовцы напряжённо ждали реакции майора. Если её не последует, то вылезший из машины однокурсник – воистину блатной, из семейства инвалидов: одна рука здесь, вторая в Москве. То, что он отбрил офицера-воспитателя – это круто, но вперёдсмотрящим негласно определён уже Чума. Вице-сержант Чумаков.

– Капитан Резников, после занятий ко мне в кабинет вместе с... этим, – майор постарался сделать грозным своё растерянное выражение на лице. Но то, что не назвал имени провинивше-

гося, не лишил вслед за Чумаковым погон, подтверждало: в жоаки предложен новичок. Только ведь такое по приказу не случается, они сами силой и решительностью выходят вперёд в некую трудную минуту...

Новенький, конечно, как раз и вышел, приняв на себя гнев командира, только вот делать это за спиной наверняка влиятельного папеньки – это не независимость, а наглость. Которая и их, стоящих в строю под дождём, втаптывает в полигонную грязь. Ты попробуй из равной мокрой шеренги выйти, а не из тёплого «уазика»!

Так думалось и представлялось взводу. Потому выходка Воеводы не восхитила ребят, а вызвала ещё большее неприятие.

Но все ждали окончательного решения майора – казнить или миловать? Артём понимал, что вместо покровителя нажил себе кровного врага, который не забудет и не простит своей растерянности перед подчинёнными. Лучшим вариантом для всех встанет то, если прямо сейчас ротный отправит его пешком до Москвы. В какой она стороне? Он готов идти...

– К бою! – неожиданно скомандовал майор.

Уникальная армейская команда, отменяющая все предыдущие. Делаящая ничтожным пустую браваду, никчемным – стремление обойти на вираже командира. «К бою!» – значит, просто падай там, где застал приказ. В этот миг ты лишь мишень для врага. А задача солдата – выжить и победить противника.

Взвод пятнистой каракатицей плюхнулся в лужу. Следом растянулся на земле и Артём. Как учил «Матвей», дважды перекатился, покидая

место, где тебя мог видеть враг. Замер, мысленно усмехнувшись своей машинальной готовностью исполнять приказы. Только вот суворовцы выставили перед собой пусть и учебные автоматы, с просверленными стволами, а ему даже так стрелять по противнику из пальца? Только что сам смеялся над игрой малолеток в войнушку...

– На рубеж наблюдательной вышки, ползком, вперёд!

Над головами раздались пусть и холостые, но выстрелы: капитан Резников поливал автоматным огнём над теми, кто не особо тщательно утюжил пластилиновую глину на дороге, мял мокрую траву на обочине или пытался огибать лужи.

Артём полз за всеми, понимая, что делает это в прямом и переносном смысле в противоположную от Москвы сторону.

Дальняя дорога

Затянуло небо синей хмарью,
Лёгкий пар исходит от воды.
Август обновляет киноварью
Рощи и окрестные сады.
Покрывает охрой и краплагом
Деревца, бегущие с холмов,
Берега обрушенных оврагов,
Крыши покосившихся домов.
Землю обдаёт ядрёным паром,
Мятным духом скошенной травы.
Тщательно латает тротуары
Пёстрыми заплатками листвы.
Постою в тени ещё немного
А потом исчезну без следа...
Мне по звёздам выпала дорога –
Дальняя дорога в никуда.

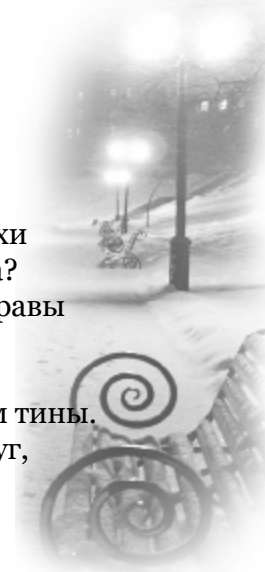


ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЧЕНКО

Поэзия

Проснусь чуть свет

Заброшу всё – и книги, и стихи!
Проснусь чуть свет,
Толкну калитку в лето...
Ты слышишь, как горланят петухи
По деревням задолго до рассвета?
Там пахнет кровью скошенной травы
Опушки однодневная щетина,
Там иван-чаем зарастают рвы,
И пруд накрыт зелёным плюшем тины.
Откуда-то нахлынут чувства вдруг,
В глазах блеснёт
Слезы холодный глянец...
Мне дороги и лес, и этот луг,



Остриженный под ноль, как новобранец.
И эти беспокойные ветра,
И тополей слежавшаяся вата,
И даже эти угли от костра,
Горевшего для нас с тобой когда-то.

Вначале было слово

Музыка гремела до утра.
Просто так, без повода, без дела.
У подъезда, словно мошकारа,
Молодёжь назойливо гудела.
Город стих. И даже соловьи
Словно по команде смолкли в чаще.
Сбиты все вибрации мои
Музыкой бездарной и кричащей.
Улица дрожала, как вокзал,
Люд стонал, заботами измотан,
Но никто ни слова не сказал
Этим разгулявшимся уродам.
До зари промаявшись без сна,
Я из ночи вышла, как из ада...
Мне нужны покой и тишина,
Ничего другого мне не надо!
Время объявило мне войну,
Дьявол, что ни час, грозит расправой.
А ведь я на эту тишину,
Как никто другой – имею право!
Право – эта истина проста,
Дар Творца и ничего другого.
Бог вложил слова в мои уста
И сказал: «Вначале было Слово!»

Плен

О, Господи! Как тяжёк этот плен,
Зовущийся средою обитанья...
Ты дал мне жить в эпоху перемен –
Я принимаю это испытанье!
Ты можешь испытать меня огнём,
Водой, крестом, расплавленным металлом.
Твой Сын во мне, и если я не в Нём,
То я дойду, во что бы то ни стало!
Приду в обитель моего Отца,
Какая бы беда ни приключилась –
Последняя заблудшая овца,
Познавшая любовь Твою и милость!

Ночь полнолуния

Разольём по бокалам остаток июня,
И когда по садам замолчат соловьи –
В эту тихую светлую ночь полнолуния
Мы друг другу поведаем тайны свои.
Ты расскажешь, как жил без меня эти годы,
И какая с тобой приключилась беда,
И куда улетели твои самолёты,
И когда укатили твои поезда.
Ну, а я расскажу о весенних рассветах,
И кого я любила, и как я ждала,
О стихах ненаписанных, песнях не спетых,
О мечте, что когда-нибудь сбыться могла.
Не легло, не срослось, не сбылось, не случилось.
Ни к чему нам остывший костёр ворошить!
Но зато я у жизни добру научилась.
Ради этого всё-таки стоило жить!

И только я понять могу

Когда не спится по ночам,
Когда с рассудком спорит сердце,
Когда озябнувшим плечам
Уже вовеки не согреться,
Когда кругом темным-темно,
Как на душе от непощенья,
И месяц тоненький в окно
Глядит без всякого смущенья –
Я поднимаюсь над собой,
Поскольку всеми позабыта,
Я поднимаюсь над судьбой,
Над неустроенностью быта
И прочь от памяти бегу,
От тех, кому я доверяла...
И только я понять могу,
Что ничего не потеряла!

Всё хорошо!

Всё хорошо! Но почему-то мимо.
Всё хорошо! Но как-то всё не так.
То град с небес, то вдруг повеет дымом,
То в сердце мрак, а в доме – кавардак.
А жизни-то осталось – только крохи,
Но и они – не те, не там, не то...
Столкнулись лбами Эры и Эпохи,
И уступать не думает никто!
Народы разбрелись по белу свету.
Созрела жатва. Жнец уже в пути...
Мой век давно измерен, но планету
Я попытаюсь всё-таки спасти!

Они молоды были...

(Главы из романа
«Время ошибок»)

Сентябрь.

Перелётные стаи. Перекликаются. Плачут? Зовут ли кого? Кто их поймёт, этих птиц. Лес зазвенел позолотой. «Тяжкая роскошь барокко...» Чья-то строка. Не помню уж, чья. Скоро, совсем уже скоро обрушится эта роскошь. Станет прозрачно и зябко. Будет в низинах слоиться туман – лёгкая вата, идти сквозь которую, сколько бы до этого ни ходил, всегда почему-то грустно.

Олеська укатила к родителям, и, стало быть, ночью опять притащится эта крыса. И как она узнаёт?.. По запаху, что ли?.. Совсем перестала меня бояться. Делает вид, что ручная. А я и не собираюсь её приручать! Пусть даже не думает!

Час до конца рабочего дня. Долгие сумерки. Лес наполняется новыми звуками. Дома не ждут. Самое время сходить на ферму. К вечным бумагам, к



ОЛЕГ
ВОРОПАЕВ

Проза



журналам. Интересно, какая в них надобность? И кто в них заглядывает вообще, кроме меня и Дулепова?

Отношения наши разладились окончательно. Чем дальше, тем хуже. Причина? Должно быть, во мне. Уж так я устроен: если кто-то делает шаг, пытаюсь от меня отдалиться, я делаю два.

На ветке сосны мой старый приятель. Мой филин. Клокочет зобом. Привет, дорогой мой охотник! Стемнеет, и всем грызунам тут придётся туго. Что ж, бей их! Вонзай в них железные свои когти! Не жалко! Вот если бы и мою ночную гостью ты... А впрочем, постой-погоди, ведь я к ней привык. Привык, как больной привыкает к отвратному, горькому зелью.

На ферме вечерняя дойка.

Моренко с полными вёдрами молока частыми маленькими шагами плывёт навстречу. С улыбочкой. С вечной своей улыбочкой. В приталенном коротком халате! Ну да! И Штеменко туда же! Нам, говорят, в коротком работать удобней. А мне какво? Я что, из железа, по-вашему?

Спотыкаюсь о пустое ведро. Чертыхаюсь. Через полосу затемнённого пространства пробираюсь в бытовку. Журналы, копии накладных, копии копий и прочая бумажная дребедень. Расписываюсь, подшиваю, заполняю.

Появляется Моренко:

– Мы закончили, – на ходу расстёгивает халат. – Отвернитесь, пожалуйста, я переоденусь. И знаете что? У меня к вам ещё есть разговор.

Невольно люблю её отражением в окне. Фигура у Моренко, как у Лоллобриджида. Ей бы в кино сниматься.

– Как вам не стыдно, Сергей Олегович, меня рассматривать! Я же всё вижу! – хохочет. – Мне, знаете ли... я вот о чём хотела поговорить... мне в городе работу предложили.

– Работу? И где?

– Не поверите! В ресторане «Северном». В стриптиз-шоу. Был конкурс, и я прошла отбор. Сейчас это называется кастинг. Я и Наташку с собой потянула. Но ей отказали. На ноги посмотрели и отказали. Полноватые, говорят. Дураки! Ноги у неё красивые! Да она и не хотела. А в меня прямо клещами вцепились!

– Ну... так уж и клещами?

Разговор наш походил на какой-то розыгрыш.

– Представьте себе! – выдыхает винным перегаром.

– А что, ежедневный приём алкоголя – одно из условий отбора... или этого, как его... кастинга?

– Ну что вы! Спиртного, сказали – ни-ни! Выгонят сразу. А вы, наверное, тут считаете, что я пьянчужка какая-нибудь?! – опять смеётся. Смех у неё задорный. – Это я здесь расслабляюсь. Работа доярки – не сахар! Да вы же и сами всё видите!

– Что ж, может, и к лучшему это. Сопьётесь вы тут, Моренко. А в общем-то, шило на мыло меняете: ресторанная жизнь, соблазны. Но прежде чем увольняться, поговорили бы вы с танцовщицами – как там у них?

– С кем говорить-то? Первый набор, понимаете! Это со мной потом говорить будут. Вот стану ветераншей стриптиза, и будут, как миленькие! Ха-ха! А танцевать мы будем по несколько человек. Не человек, девчонок, конечно. Что-то типа канкана на современный лад. Жалко, шеста не бу-

дет. Я бы и у шеста покрутилась. А что? Показала бы клиентам свою индивидуальность!

Ох, и девица! Смех заводной, глаза озорные. Ещё и танцует! Как тут мужику устоять? Считаю – никак! И всё же один недостаток во внешности у неё есть! – хищные ноздри. Мелочь, казалось бы, но очень уж хищные.

– А просьба у меня такая, – закончив смеяться, переходит на энергичный шёпот. – Наташке предложили поработать официанткой. С испытательным сроком. А она упёрлась, дура, – никуда не пойду, и всё! Из-за вас, между прочим, упёрлась! Вот и сейчас говорит мне, мол, ты иди, а я задержусь. Поговорить с вами хочет. А о чём говорить?! О чём?! Ну, будьте же вы милосердны! Отшейте её как следует! Ну, вправьте же вы наконец ей мозги!

– Мы сами разберёмся! И уж точно без вашего, Моренко, участия! Тем более, как доярка Наталья меня вполне устраивает. Пусть работает. Вам тоже придётся отработать две недели, пока не найдём замену.

– По закону хотите? Хорошо! Сегодня же напишу заявление, и начнём отсчёт! Только Наташка без меня долго у вас не задержится! Не дразните девчонку! Всё равно уйдёт! Так лучше уж дайте ей такой от ворот поворот, чтоб мало не показалось! Ведь вам ничего не стоит! Почему? Ха-ха! – в этот раз она рассмеялась зло. – Да потому что вам о своих проблемах пора подумать.

Ушла. Хорошо, ещё дверью не хлопнула. О чём это мне пора подумать?.. А ведь я понимаю... догадываюсь, о чём. Сделалось вдруг нестерпимо душно.

Бросив на стол авторучку, я вышел на воздух. Месяц, уставившись вниз рогами, завис над лесом. Над угасающей бронзой заката застыли звёзды. Крупные, отстранённо мерцающие.

– Красиво-то как! – Штеменко загадочно улыбается, и волосы у неё распущены по плечам. Прекрасные рыжие волосы.

Когда она подошла?

– Лес! Я с детства люблю и боюсь его. Почему? Не знаю, почему. Наверно, потому что он разный. Его невозможно понять до конца, но я постоянно пытаюсь... Пытаюсь понять. Сегодня он мой союзник. Он заговорщик, и знает, как прятать тайны. А в сеннике запах чудесный. Там очень уютно. Там хорошо и тепло. Серёжа, ты слышишь меня? Ты помнишь, ты обещал...

Какой обволакивающий у неё голос. Цепляющий. С магической дрожью. На миг мне почудилось, что это совсем не Штеменко, а ведьма. Рыжая ведьма! Ещё бы немного, и я бы пошёл... да что там пошёл, сам потянул бы её в сенник!

– Нет! – встряхиваю её за плечи и отступаю на шаг. – Ты сумасшедшая, Наташа! Уезжай, слышишь?! Уезжай в город!

Она улыбается:

– Ну почему... почему ничего не могу я с собой поделаться?! И знаю ведь наперёд, что ты скажешь! Про этих деревенских парней! Про то, что женат! Но неужели я такая уж некрасивая?!

– Наташа, послушай меня внимательно! Миллионы мужчин мечтают именно о таких отношениях. Но я не хочу! Понимаешь, не хочу! И не стану тебе объяснять, почему!

– Я что... совсем тебе не нравлюсь? Ни капельки?

– Ну что ты? – не слишком ли я с ней резок? – Ты же не можешь не нравиться... и-и... всё у тебя на месте... и грудь, и носик чудесный, и ноги... нет!.. ну, я даже просто с ума схожу, какие у тебя сексуальные ноги!

– Ты правду говоришь? Не шутишь? – поднимает глаза.

– Ну да! Именно такие мне нравятся... – Стоп, Венгеров! Куда это опять тебя понесло?! – Но это, Наташа, говорит лишь о том, что всё будет у тебя хорошо.

– Нет, – осторожно берёт меня за руку – Без тебя не будет.

На щеках у неё дорожки.

– Это со мной не будет! Понимаешь, со мной! – я срываюсь на крик.

– Да. Теперь понимаю, – отпускает мою ладонь и уходит. – Все над тобой смеются, Серёжа, – голос её удаляется, тает, – а мне почему-то больно. Когда они смеются, мне больно!

– Ты что? Совсем уже свихнулся? Кнопку отпусти! – Дулепов с трудом оторвал от звонка мои пальцы.

– Я не к тебе. Я вообще-то к Людмиле.

– Ты пьян? Что у тебя с лицом?

– С лицом? Всё х-хорошо, – почему я так медленно говорю? Языком по небу перекатываю кажую букву.

– Садись! – подвинул мне стул. – Что у тебя случилось?

– Случилось? Да, у меня случилось... Я просто хотел спросить... не у тебя, у твоей жены.

– Спрашивай, – появилась Людмила. – Только потише. Там Сашка уже засыпает, – кивнула на дверь.

– Ты знаешь... вернее, я знаю, что ты мне расскажешь. Потому что... Да ты уже и сама догадалась о чём.

– О жене твоей и Жебровском? – она посмотрела внимательно и опустила глаза. – Да что тут... о чём говорить? Городок давно уж бурлит. Мы думали, ты тоже в курсе. А тут классический, оказывается, вариант.

– Классический? Как это?

– А так! Все уже обо всём знают, и только счастливый муж пребывает в неведении.

– Счастливый, говоришь? – во рту пересохло. Отчаявшись сглотнуть, я закашлялся. – Пить... дайте скорее попить.

Дулепов ушёл на кухню. Мне показалось, он пробыл там целую вечность – пропускал воду и долго ещё с чем-то возился. Наконец-то он вынес мне полную, до самых краёв, кружку. Я проглотил её залпом.

– Любовники как любовники, – Людмила пожалала плечами. – Их в городе видели вместе. В кафе и в кино. Ещё и соседи в глазок наблюдают – как только ты за порог, так сразу она к нему. Случается, что и с работы сбегает. Про гараж я вообще молчу. Катерина дома, так они – в гараже!

– А ты? – возвращаю кружку. – Почему ты молчал?

– Ну, знаешь ли!.. – Дулепов сопит и отводит глаза. – С такими известиями всегда в дураках остаёшься!

– Пожалуй, ты прав! – поднимаюсь и чувствую, что вот-вот меня вырвет – от всех этих новостей и прежде всего от себя самого.

– Спасибо... спасибо за воду, – шагаю на выход.

Прикрыв осторожно подъездную дверь, замираю. Что делать? Извечный, как жизнь, вопрос! Собраться бы с мыслями. Что ж... давай собираться... Спокойно... Пора успокоиться. Итак. В кочегарке светятся окна. Интересно, чья смена сегодня? Ведь самое верное, это убить его! Прямо сейчас! Кочергой в кочегарке?! Пока побежишь за ножом, остынешь. Шекспировский вариант! Отелло, размахивающий кочергой! Ха-ха! Да и он-то при чём?! Уж если кого убивать!..

А дома что делать? Так ясное дело что!.. Осматриваюсь на кухне, и мне не хватает дыхания. Бутылка в шкафу. Теперь уж не вырвет. Под жёлтое с лёгкой горчинкой яблоко. Гранёный стакан – до дна! И сразу второй. И... что там осталось? Считай, ничего.

Укрыться, залечь, укутаться и думать о чём угодно. А лучше совсем не думать. Как научиться совсем не думать?

Река. По берегу лес. Берёзовый, ослепительно белый, как свадебная фата невесты. Мы в лодке. Я бью по воде веслом, и брызги, превращаясь в радугу, падают ей на платье. Она оправляет подол и смеётся. О, как же мне нравится этот смех! Он сводит меня с ума! Сейчас... на этой поляне... на бархате этой травы... Олеська, ты будешь моей! Она прижимается нежно и гладит меня по лицу. Но что это... что так царапает щёку?.. когти?!

Отпрянув, сбиваю с подушки крысу. Ударившись о стену, она верещит и кружит по комнате. Я

в ярости. Я готов растоптать её! Я задыхаюсь! Она ускользает! Нырять под мойку.

– Тварь! – швыряю ей вслед будильником.
Крошево стёкол.

Знобит. Котельную затопили всего как два дня, и в комнате холодно. Что если взять отгул? Нет! Завтрашний день будет ничуть не лучше, чем этот, а может, ещё и хуже. Что ж, надо вставать, умываться, пить чай, чистить зубы, идти на работу.

Да, на работу! Рогами вперёд!

– Доброе утро! – киваю у подъезда Горшковой и фельдшеру Маше.

Ну что же вы так на меня уставились, женщины дорогие! Лицо нездоровое? Так это с похмелья. Глаза не сломайте! И почему бы, в конце концов, мне не выпить? Все выпивают!

На проходной под шумок передаёт смену. Сменщица у него – ветеранша «вохры» с трясущейся головой. Как можно такой голове доверять оружие? Улыбаются, кланяются карабинами.

Неужели и эти знают? Раньше ведь как-то иначе они улыбались.

Теплица. Скифские бабы, завидев меня, перестали жевать. Разглядывают. Да ладно! Неужто и вам уже, бабоньки, всё известно?

– Ну и видок у тебя! – Дулепов сочувственно крикает. – А выхлоп! Венгеров! Боже ты мой! Зачем?

– Ну, выпил! И что? Уволишь теперь? Поставишь на вид?

– Надо будет, поставлю! Ты это... в бутылку не лезь! – вращает глазами и обиженно раздувает

ноздри. – Ты знаешь что? Ты держись! Цивилизованно надо. Люди вы взрослые, и всё такое. Я лично думаю так: оставь эту ситуацию в прошлом и просто переверни страницу! Есть такие страницы, которые нужно просто перевернуть, понимаешь?

– П-понимаю, – в горле Сахара.

– Что ты решил?

– Что тут решать? – хватаю графин, и глотаю из горлышка долгими разрывающими глотками. – Разведёмся, конечно. Чем скорее, тем лучше.

– Ты знаешь... ты больше в работу включайся. Работа, она вытягивает. Из любого дерьма вытягивает. Моренко вот с утра заявления притащила. Увольняются наши доярки. Обе, короче.

– Обе? Я думал, одна.

И чем я не механический робот? Включаться в работу? Пожалуйста!

– Так ты, получается, знал?

– Про Моренко ещё вчера. Про Штеменко – нет. Если честно, мне жаль, что они уходят. Работницы хорошие.

– Алкоголички! Вот и вся их работа! – Дулепов потряс заявлениями. – Возомнили о себе! А к нам, между прочим, на ферму уже просились. Эта, как её... Водолярская точно просилась!

– А кто это?

– Пенсионерка. Из падвинского совхоза.

– А-а, понятно. Лошадь свободна?

– Нет. Дядь Лёня с утра укатил в лес. Стога осмотреть. Как выпадет снег, так сено сюда свезём. Поближе к коровнику. Зимой в лес не накатаешься. Да и лоси, как только называют про наши стожки, так сразу начнут дербанить.

– Тогда я пешком. На дальнее пастбище. Потом на ферму.

– На это полдня у тебя уйдёт. Ты это... с алко-голем завязывай, слышишь! Сейчас он тебе не советчик.

– Антисоветчик, – растягиваю улыбку.

Зачем-то пришёл сюда. Понятное дело, зачем. Ведь в прошлый же раз потерял тут сознание. И, вероятно бы, тихо умер, если бы не Дулепов. Кой чёрт ему нужно было меня вытаскивать?!

Трава под крестами окончательно высохла. Ломается и хрустит. Касаюсь ладонями проволоки. Чуть ли не висну на ней! Нет. Тихая смерть, как видно, не про меня. Ну и довольно! К чертям эту аномалию! Выходит, что всё про неё придумки. Подумал, потерял сознание! Обычное совпадение. Скачок давления. Перебой в сердце. Вот и причина.

Есть тысяча способов, как сделать это иначе.

На проходной ветеранша «вохры» беседует с деревенской подругой. Стоят у ворот и размахивают руками. Дела им до меня никакого. Голова у охранницы трясётся так, что видно отсюда. Почти не скрываясь, иду в караульное. Как я и думал, карабин прислонён в углу – между стеной и сейфом. Передёргиваю затвор. Спокойно! Сжимаю зубами ствол. Зубы немного крошатся, но это мелочи. Главное, чтоб не стошнило! Стыдно же будет, когда стошнит! А то, что мозги разлетятся сейчас по всей «караулке», за это не стыдно?

Вдох. Выдох. Цок! Уф-ф... А я-то уж чуть не обделался!

– Экие вы, мужики! – старушка решительно тянет к себе карабин. – Ну, как же не стыдно, а!

Увидят винтовку, и непременно схватить её надо. Потискать! Как бабу! Да я уж учёная! Как заступаю, так сразу патроны – в ящик. Не балуй! Пусти, говорю!

Разжимаю онемевшие пальцы. Пытаюсь что-то сказать, но язык как наждак:

– Кхм... кхм... – покашливаю и прячу глаза.

Да и что говорить. Голова у охранницы трясётся, похоже, от «многого знания» и мудрости. Подруга её у ворот улыбается чёрным ртом.

Скорей бы домой. Хотя бы на час. Подумать. На что-то решиться. Ведь я же совсем не знаю, что делать с самим собой.

На автобусной остановке замечаю жену Жибриковского. С младенцем, прижатым к груди. Сообщает Горшковой, что едет к родителям в Падву. Смеётся расхожей шутке деревенского мужика. Мадонна. Сегодня смеющаяся.

Что делать, если выпил в обед? Не собирался, но вот так получилось. Теперь уж и на работу идти нет смысла. Воротит меня от этой работы. Пусть ставит прогул. Пусть увольняет. Начальник! Хороший, конечно, он парень. Призвал к цивилизованному решению вопроса. И слово-то какое нашёл интересное – ци-ви-ли-зо-ван-но-му! Красивое слово. Исчерпывающее!

Пошёл прогуляться, и только у озера понял, что зря не захватил спиртного. Вот тут бы сейчас и продолжить. У этого вереска. У этих камней. Под тёплый, из пазухи, бутерброд с колбасой и сыром. Прислушиваясь к плеску волн, ударяющих в тёмный песок, и к чайкам, парящим над островами.

И прежде всего к себе – к своим незнакомым чувствам.

Но, может, и правильно, что не взял. Трезветь на просторе ведь тоже искусство. Да лишь бы не думать... Но как?.. Возможно ли жить и не думать? Но жить тогда для чего? Стать слизняком? Презирать себя и оправдывать?

– Серёжа, дорогой мой, нам надо поговорить. Боюсь, как бы ты не наделал чего такого... – Нина стоит у воды. Руки прижаты к груди, с трудом переводит дыхание. – Ух... Насилу догнала тебя. У гаражей... ты когда прошёл, я всё поняла... по твоему лицу... что доложили уже... Да, доложили? Ну, что ты молчишь?

Не так уж и хочется мне её видеть. Вернее, совсем не хочется.

– Ты знала и ничего не сказала мне, Нина.

– Не начинай! Я никому не обязана сообщать подобные вещи. Никто не обязан, понятно?!

– Понятно.

На кого она больше злится, на себя или на меня?

– Случилось то, что случилось! И значит, так было нужно. И пусть это сейчас прозвучит глупо, но прежде всего тебе! Да! Не удивляйся, пожалуйста! Тебе! – глубокая морщина обозначилась между её бровями.

– Что же теперь мне делать? – зачем-то я принялся рассуждать вслух. – Самое верное – это уехать. И хорошо, если прямо сейчас. В город на попутке, а там – на подножку уходящего поезда... но так... ведь только в кино бывает.

– Прости ты её! Ты молод! Ты ещё очень молод!

Ты должен... ты просто обязан её простить! Так уж мы, бабы, устроены! Дуры мы, понимаешь?!

Она потянулась взъерошить мне волосы, но я перехватил её руку и сильно сжал.

– Мне больно, Серёжа! Мне больно, слышишь?! – перешла на шёпот и глянула с каким-то весёлым недоумением.

Чему это она улыбается?... И что этой женщине от меня нужно?! Я отпустил её запястье и зашагал к лесу. Вернее, почти побежал.

– Куда же ты? Подожди, Серёженька! Ты должен меня услышать! Прости ты её! Прости и постарайся понять! И вот ещё что! Ты только не думай, что у меня всё плохо. У меня как раз хорошо! Как никогда хорошо! – теперь уж она кричала. – Володя почти не пьёт. Ему поступил заказ. Серьёзный заказ. Из Кижей! Из самих Кижей, представляешь?! Изделия из можжевельника и карельской берёзы. Он где-то уже нашёл и спилил можжевельник. Настоящее дерево. Таких, говорит, на всю Карелию раз-два и обчёлся. А он, представляешь, нашёл!

Пенёк, розоватый на срезе, и горстка опилок.

И как-то само собой покатались слёзы. Ведь я человек всего лишь. И я одинок. Я никогда ещё не был так одинок! Как к другу, я приходил к нему... к колючему этому дереву. Делился с ним болью и радостью. И мне почему-то верилось, что оно меня слышит.

Касаюсь ладонью среза, и пальцы дрожат. Мне кажется, срез ещё тёплый. Ну, точно ведь, тёплый! Уж не безумен ли я? Да нет же! Уж слишком бы всё тогда было ясно.

Я просто совсем не умею жить. Но я научусь. Обязательно научусь.

Куртка Олеськи на вешалке. Ботфорты внизу. С грязными, сбитыми уже каблуками. Не так уж надёжно, получается, я их спрятал. Теперь уж пусть носит сколько угодно. Хоть спит в них!

– Хелоу, май хезбенд!

Заходит в квартиру почти за мной. Минуты не минуло. Даже не удивляюсь. Сверху – со второго этажа – прекрасный обзор. Увидели, что иду. Она или он, кто-то увидел. Интересно, прощаясь, они целуются или нет?

– Привет и тебе! Давай-ка попробую угадать, куда это ты по приезду сразу запропастилась, – мой голос спокоен настолько, что сам удивляюсь.

– А что тут гадать? Подумаешь, к Катьке на десять минут забежала. Привет тебе от родителей. Мама вот рыбник передала. Ты же любишь рыбник?

– Рыбник люблю. А Катьку, ты знаешь, я стал недолюбливать.

– Недолюбливать? – Олеська непонимающе хмыкнула и пожалала плечами. – Ну, что ты! Катюха ведь такая прикольная. Разобьёт что-нибудь, уронит, а на детей сваливает. Сама как ребёнок! Ну правда, смешная?

– Ха-ха! Действительно. Я просто не знал... совершенно не знал, что такая смешная. А ещё эта Катька большая врунья. Зачем-то соврала на остановке, что едет к родителям в Падву. И даже, представляешь, села в автобус. Вот же бесстыжая! И как только этот Жебровский живёт с ней, с такой вот бессовестной лгуньей.

– Глупо! – Олеська истерически хохотнула. – Глупо не верить мне! Знаешь ли, это тебя не красит!

– Действительно. Нисколько не красит. Даже ни капли...

Я оставался спокоен настолько, что сразу не понял, почему она бьётся затылком о стену, хрипит и закатывает глаза. И только когда она начала оседать, я, наконец, увидел, что рука моя держит её за горло.

– Дрянь! – я отшвырнул её в сторону и задумался: «Не слишком ли мягкий эпитет?»

Потом она извивалась, рыдала и ползала по полу. И всё это выглядело, должно быть, смешно. Но я не смеялся. Я просто закрылся на кухне и принялся заваривать чай.

Вот только заварка почему-то всё сыплется мимо. Чайная горка растёт. Это не горка уже – гора! За окном темнеет. Кажется мне или нет, но темнеет так быстро, будто падает занавес. Аплодисменты?! Где я?.. В театре абсурда. Тогда понятно. Уж дальше и объяснять не надо. Только скажите мне, кто это в главной роли? Не объявляли, случайно? Кто?.. Да?! Ну, конечно... конечно, она – та самая первокурсница, что так неумело соблазнила меня в общаге. Ну, или я соблазнял. Теперь уж не важно. Кто-то из нас любил... или готов был любить... Что же случилось? Что?.. С этой девчонкой, со мной?.. Что надломилось? Господи, как же не хочется сейчас во всём этом разбираться.

«Ты ударил слепого и сам ослепнешь!» – вспомнилась фраза незрячего парня.

Вот и ослеп!

– Нам надо поговорить, – Олеська проходит на кухню.

Лицо у неё решительное и красное, как никогда. Нос непомерно разбух.

– Говори, – глотаю обжигающий чай.

– Ты должен меня понять!

– В чём? В том, что когда мужчина берёт тебя за коленку, ты ничего уже не можешь с собой поделать?

– Это не так!

– Женщины подобного типа большая редкость. И я, представляешь, даже не думал, что мне повезло настолько...

– Ненавижу! Ненавижу твою иронию! Да! Я и сама не успела понять, как это всё случилось. Ладно бы, просто интрижка! Но оказалось, что нет! Оказалось, гораздо хуже! Он любит! Понимаешь, любит! Ради меня он готов!.. Чёрт знает, на что он готов! Я... я даже испугалась, когда разглядела в нём эту решимость. Он предложил мне всё бросить и уехать в Питер.

– Всё – это, в смысле, жену и двоих детей? Это поступок, знаешь ли!

– Представь себе – да! Поступок! Он сразу сказал мне, что любит своих мальчишек, но даже они его не удержат. Никто не удержит! Понимаешь, никто и ничто! И тут я задумалась...

– Задумалась? Ты?

– Не смешно! – она с придыханием всхлипывает. – Я просто в какой-то момент поняла, что он ничуть не лучше тебя – такой же упрямый и такой же непредсказуемый!

– Непредсказуемый? Я? Наговор! Чистейшей воды наговор! В ближайшие день-два мы вполне

предсказуемо поедем с тобою в загс и начнём процедуру развода.

– Развода?! Вот видишь! Ты даже не пытаешься меня понять? У-у!.. – сморкается в платок, хлюпает. – Конечно... – сморкается снова, – разве ты когда-нибудь замечал меня? Ведь ты, кроме себя, никого не видишь! Ты даже не понял, что я уже давно превратилась в красивую женщину, на которую пялятся все мужики! И даже твои друзья! Да! И твои друзья постоянно пялились!

Тут, если честно, я пожалел, что не придушил её.

Но как же безобразно распух её нос! Распух и заострился одновременно! Кого-то она мне напоминает. Определённо. Кого же? Кого?.. Ну да! Ну, конечно же, крысу! Ту самую крысу!

– Гиринг отказал, – Дулепов прошёл к своему столу и принялся перебирать бумаги. – Где же эта чёртова справка?! Приезжал ветеринар и должен был оставить справку. Не видел случайно?

– Нет, справки не видел. Почему отказал Гиринг?

Вот уже несколько дней я прошу Дулепова решить вопрос о моём переселении в гостиницу.

– Сказал, что осталось всего два номера. Один его личный. Второй – на случай приезда проверяющих. И вообще разорался. Мол, подсобное хозяйство давно уж работает в убыток, и одну единицу доярки пора сократить. Как думаешь, если мы сократим, Водолярская справится?

– Без выходных и без отпуска – запросто!

Дулепов насупился:

– На время ежегодного отпуска возьмём чело-

века по договору. А с выходными предупредим, мол, будет трудно... но, если не согласится, найдём другую. Желаящих полдеревни! А что ты думаешь, в совхозе они по-другому работали? Так же без выходных и работали!

– В совхозе доят аппаратами. У нас вручную. И, кроме того, она может уйти на больничный.

– Да брось ты! Водолярская – кремень! Какой ей больничный? Ну и, на крайний случай, ты сможешь всегда её подменить. А что? Идея мне нравится.

– С таким же успехом и ты сможешь.

– Ну, знаешь, Венгеров! Даёшь ты! Мозги-то включай! Я всё же начальник! На мне материальная ответственность, отчёты. И много чего ещё! – Дулепов обиженно отвернулся.

Водолярская – та самая моложавая бабка, у которой на спине я однажды прочёл предостережение: «Не влезай! Убьёт!» Работает она хорошо. На ферме порядок. И всё же удои упали. Загадка.

Выхожу из вагончика и присаживаюсь на протянувшуюся параллельно земле берёзу. Когда-то надломили росток, но дерево выжило. Теперь уж и ствол толстый. Удобное. Лучше любой скамейки.

Качаюсь на нём, как в детстве. А мысли всё те же... о том же... С Олеской не разговариваем с того самого дня. Плохо одно – спать нам приходится на одном диване. Хоть и широкий он.

Вчера позвонил Жебровской и всё рассказал ей. Зачем? Да чёрт его знает, зачем! Короче, запутался.

«Нет. Ничего не знала», – в голосе у мадонны железные нотки. «Послушайте, Катерина, а не

сыграть ли нам с ними такую же шутку?» Пауза. «Как вы сказали, сыграть? Вообще-то у меня двое детей. Но... знаете, что... я подумаю... серьёзно подумаю». Напрасно... конечно, напрасно решился я позвонить ей. Однако выходит, что и она не знала. А, может, знала?

Дулепов выходит из вагончика и усаживается рядом.

– Что у тебя с разводом? – сочувственно выкапывает глаза.

– С разводом – всё хорошо! Через месяц поставят штамп.

– Обычно дают три месяца.

– Объяснил, что примирения не будет. Пошли навстречу.

– Что собираешься делать? В Мурманск вернёшься? – хочется ему, чтобы я поскорее отсюда убрался.

– Ещё не решил.

– Послушай, но ты ведь тоже не ангел. Ты тоже ей изменял! Изменял же?! – возмущённо сопит и колупает кору.

– Да, я, конечно, не ангел. Нисколько! Ни капли! Но, знаешь ли, измена мужчины и женщины – это совсем не одно и то же.

– Не одно?.. – Дулепов округляет глаза. – Да ладно! Поясни мне, пожалуйста, разницу, если не затруднит.

– Что пояснять-то? Всё просто. Обманутая жена – это кто? Несчастливая жертва! Во все времена! Обманутый муж – однозначно дурак-рогоносец и вечный объект для насмешек.

– Ах, вот как! А Цезарь? А Наполеон? По-твоему, и они дураки?

– Ну что ты? Достойнейшие мужи! Но Цезарь, так тот вообще разбираться не стал. Сказал, что Кальпурния вне подозрений. И всё! И никто не пикнул. С Наполеоном сложнее. Он Жозефину любил. И всё же, в конечном итоге, послал её, со всеми её любовниками, ко всем чертям!

– Но потом-то простил! – оживился Дулепов. – И денег дал, и поместье! А ты? Посмотри на себя! Почернел уже весь! Прости ты её. Прости и забудь!

– Это, конечно... никуда это от меня не уйдёт. Вот стану Наполеоном и сразу прощу. Ну, или Цезарем. На крайний, конечно, случай.

– Не обязательно, Венгеров! Никем становиться не обязательно. Согласно теории ударных импульсов, – глаза у него возбуждённо блеснули, – ты должен развернуть ситуацию в обратную сторону. То есть себе на пользу! Не забывай, что получая удар, а удар – это всегда импульс! – ты неизменно приобретаешь бесценный опыт. Ведь что ты сейчас понимаешь совершенно отчётливо? А то, что рядом с тобой оказалась случайная женщина. Осталось найти неслучайную. Порядочную. Таковую, чтобы на мужиков смотрела сквозь пальцы! Вот как Людмила моя, к примеру.

– Зачем?

– Что зачем?

– Зачем мне такую искать?

– Как это зачем? Не сбивай меня! Ты же не можешь остаться один?

– Могу.

– Нет, не можешь! Ты получил свой импульс и должен его использовать!

– Нет! Ничего я не должен.

– Ну, знаешь! Это уж слишком!

Перед тем как вернуться в вагончик, он обернулся, и губы его задрожали:

– Только не делай такое лицо! И не один ты тут такой остроумный, понятно?! И если уж хочешь начистоту, то дружбу нашу разрушил ты! Да, ты! Своими идиотскими шутками! От них не смеяться, а плакать впору! Я долго терпел, но вот наконец-то терпенье моё иссякло. Достал ты меня!

И тут я подумал: а может, и прав он. Начальник ведь всегда прав.

Октябрь.

Лес обнажился и замер. В лужах по кромкам кристаллы льда. Рваные облака проплывают так низко, что, кажется, задевают верхушки высоких сосен. Птиц поубавилось. Разве что воробьи снуют и скандалят, как прежде, отстаивая своё право на воробьиное счастье.

Ночью к деревне подходят волки. Случается, даже перекликаются – воют на разные голоса. В крайнем дворе разорвали собаку. Бабы и ребяташки в лес поодиночке теперь не ходят. Опасно. Поговаривают, будто охотники затевают облаву. И я бы пошёл. Жалко, что нет у меня ружья.

Проход на дальнее пастбище загородили колючей проволокой, и коровы пасутся теперь у фермы. Всё из-за тех же волков. Посмотреть бы на них хоть одним глазком. В дикой природе ни разу ещё не видел.

Водолярская оказалась такая чистюля, что не нарадуешься! В коровник заходишь, как в хирургический кабинет, – свежие всегда на полу опил-

ки, стены до блеска выскоблены, а окна прозрачны так, что будто бы нет их вовсе. Каждая вещь исключительно на своём месте.

Удои упали? Ну что тут поделаешь? Не может же быть всё гладко. Поднимем. Отыщем причину, и всё образуется.

На выходные уезжаю в город. Так. Без какой-либо цели. Лишь бы с Олеськой не оставаться в одних стенах.

Сегодня пришёл к храму. В прошлый раз зайти не решился, теперь вот, пожалуй, зайду. Я ведь и креститься могу. Неловко, конечно, но всё же могу. Особенно, если никто не смотрит.

«Отче наш, – вспоминаю молитву, – иже еси на небесех... да святится имя твое... да будет царствие...» Насколько же я неверующий? И если неверующий, то зачем же тогда говорю с Ним? Напрасно, наверно, я это делаю. Ведь вспоминаю о Нём тогда лишь, когда мне плохо? В другие-то дни и не вспоминаю.

– «И благоволение во человецех!..» Кланяйся, сын мой, единому Господу нашему, не стой истуканом! – помахивая кадилом, призывает меня священник.

А голос знакомый, уж очень знакомый. Да ну!.. Неужели Тарас! Наш круглый и запойный отличник Тарас Гулько!

– Аминь! – поп передаёт кадило подбежавшему служке. Тот припадает губами к волосатой холёной руке.

Обряд добровольного унижения, сохранившийся у церковников и у сицилийских мафиози.

Внимательно друг друга оглядываем. Огромный, почти двухметровый Гулько в церковном облачении колоритен, сказать тут нечего.

– Не ожидал? – смотрит пытливо.

– Метаморфоза, конечно. Ну... и что тут ещё добавить?.. Облачение тебе к лицу и... – крепкое рукопожатие, – рад тебя видеть, Тарас.

– Я тоже рад. И раз уж Господь нам послал эту встречу, прошу, как говорится, не побрезговать и у меня отобедать.

– Удобно ли... даже не знаю?

– Удобно. Ещё как удобно! У нас по-простому. Давай-ка за мной, – священник устремляется в боковую арку.

Во дворе к нему подбегает горбатая, в чёрном облачении, старушенция:

– Ба-атюшка, благослови-и! – голос надтреснутой, резкий. В сказках про нечисть таким говорят кикиморы.

Горбатые женщины с детства вселяют в меня необъяснимое беспокойство. Наверно, оттого, что не знаю, как с ними себя вести. Заметив моё замешательство, старуха вываливает длинный слюнявый язык. Он жёлтый, как переспелая морковь, и в каких-то язвах. Невольно содрогнувшись, отступаю на шаг. Горбунья приплясывает и давится смехом.

– Озорница наша, – крестит и ласково отстраняет её Гулько.

Увидев прислонённые к стене два креста – деревянный и отлитый из бронзы, спрашиваю:

– Менять, что ли, будете?

– Будем. А что, есть желание помочь?

– И чем это, интересно, могу я помочь? – продвигу подвох.

– Как это чем? Вот этот, к примеру, уже отслуживший, – могучая длань опускается на деревянный, с облупленной краской, – к воротам надо снести. На выброс. А этот, – кивает на бронзовый, – навверх, на колокольню поднять.

– Это как... в одиночку, что ли?

– Естественно! Крест в одиночку всегда несут.

– Намёк понятен, – поглаживаю холодную бронзу.

– Уже хорошо... хорошо, что понятен, – Гулько усмехается в бороду и шагает дальше. – Выходит, не потерянный ты для Господа человек.

По свежееоструганному, пахнущему сосновой смолой крыльцу, поднимаемся в дом. Не царские, конечно, палаты, однако прихожая и следующая за нею комната неожиданно просторные и, несмотря на узкие окна, поразительно светлые.

– Вот тут и живу, – Тарас по-хозяйски звенит посудой, выставляет на стол графин и закуски.

Зачем я согласился на этот визит? В общаге мы обитали в разных компаниях и близко никогда не сходились. Гулько, он же Вождь, был груб и непредсказуем. Студенческая молодёжь его откровенно боялась. Особенно пьяного. А пьяным на третьем курсе он был ежедневно.

– Матушка приболела, и мы беспокоить её не будем. – Нарезается хлеб. Посередине стола уже целая горка из мягких душисто-ноздреватых кусков. – Попробуй. Сами печём, – Тарас смущённо улыбается. Не помню, чтобы раньше когда-нибудь он смущался. – Да что это ты, Венгеров, поникший какой-то? Случилось чего? А, может, того... удивлён, что я сан принял? Говори уж, как есть. Не таись. В общаге ты скрытный был, но те-

перь-то уж мы все поменялись. Пообтесала нас жизнь. А? Как ты считаешь?

– Согласен, пообтесала. По поводу сана, не скрою, поворот интересный. Наверно, и имя уже другое?

– Другое. Естественно, что другое. Отец Дионисий. Ну... как говорится, во благо! – поп махом выпивает стакан кагора и крестит закуску.

Я выпиваю тоже. Вино оглушает мгновенно.

– Ты лучше мне вот что скажи, – сопит и пытлииво шурится, – не просто же так ты пришёл во храм?

– Пришёл и пришёл. В себе разобраться хочу.

Похоже, что опьянел я всерьёз! «Вот только напиюсь, и сразу хочу разобраться...»*

Чьи это строки? Не помню уж чьи. Да и можно ли вспомнить, когда собственный свой голос как будто со стороны уже слышится:

– ...а вся эта Библия ваша – обычная сказка. И очень жестокая. Особенно Ветхий Завет жестокий. «Челюстью ослиной убил я тысячу человек». Не всякий маньяк убьёт. А этому ветхозаветному персонажу – можно! Раз плюнуть ему – тысячу человек на тот свет спровадить!

– Э-э... да ты, брат, крамольник!

– Ну что ты? Какой из меня крамольник? Я просто не верю, что мир сотворён был в семь дней, а женщина – из ребра мужчины. И даже, представь себе, не верю, что змей-искуситель умел говорить! По вашим же церковным канонам, во всём этом я даже сомневаться не должен.

* Строка из стихотворения Игоря Панькова «Дорога».

– Ну-ну, – Гулько, посуровев лицом, наполняет стаканы, – гляди, чтоб не съела тебя с потрохами твоя гордыня!

– Не съест, не боись!

– Сожрё-от! – могучей рукой толкает меня в плечо. – Гордыня из всех пороков, пожалуй что, самый худший. Смотрю я на тебя, Венгеров, и не пойму. На атеиста вроде бы не похож. Ведь так? – дождавшись моего утвердительного кивка, продолжает. – Стало быть, веришь в единого Господа нашего? Так или нет?

– Не знаю. Пока не знаю. В жизни случаются вещи необъяснимые. И, стало быть, есть какая-то сила. Но если эта сила всемогуща и всеобъемлюща, зачем же она над нами так потешается? Заставляет ошибаться, подличать и совершать нередко поступки, за которые стыдно потом всю жизнь, потому что нельзя поправить, переписать набело? Получается: или-или. Или не так уж Он всемогущ, или сотворённый Им мир изначально задуман был, как нечто несовершенное.

– Вот и пришёл ты в тупик, – Гулько возвышает голос и радостно потирает ладони. – Ведь если бы мир был совершенен, мы были бы не люди, а боги!

– Кто там у нас, отец Дионисий? – взволнованный женский тембр из соседней комнаты.

– Да так... забрёл тут один... никак не узрею, кто он, толстовец или сектант-самоучка! Не беспокойся, матушка! Сейчас разберёмся!

– Как это разберёмся? – пытаюсь понять, на что это он намекает.

– Обыкновенно! – перед самым моим лицом выплывает могучий кулак. – Вот этим – и по сопатке!

– Ну, знаешь ли!.. Это уже инквизицией будет попахивать.

Не так уж и радостна наша встреча. А, впрочем, пока улыбаемся и потягиваем вино.

– Ты вот что скажи мне, – прерывает молчание Гулько. – По-честному только. Ведь думал, наверно, что я уже спился давно?

– Не так уж и часто, Тарас, я тебя вспоминал, чтобы что-то такое думать. Однако привязанность твоя к алкоголю была очевидна.

– А я ведь действительно, считай что до самого дна допился.

– До дна – это как?

– А вот так – до чертей! И ничего тут смешного. Как вспомню, так вздрогну! А дело всё в том, что стал мне едва ли не каждую ночь один и тот же сон сниться. Как будто иду я по самому краю обрыва, оскальзываюсь и падаю. Пытаюсь подняться и не могу. И чем больше пытаюсь, тем больше сползаю вниз. И грязь подо мною какая-то скользкая, вязкая. А в самом низу воронка. И эта воронка закручивает и засасывает в себя всё, что поблизости. А тут ещё эти черти – откуда они только берутся – толкают меня и мешают встать. К воронке толкают. И чувствую я, что сил уже нет, что это конец мой! И в этот момент просыпаюсь. Проснулся вот так однажды и думаю – нет, дальше так жить нельзя! А как по-другому, уже не помню. От дозы до дозы – другое дело! Смотрю на часы. Ага! Одиннадцать есть. Дают уже... Оделся через силу и к магазину. И только уже по дороге опомнился, что в кармане у меня вошь на аркане да блоха на цепи. Ну ничего, успокаиваю себя, ничего... кто-нибудь да поможет... окажет вспомоществование. Встал

у магазина на углу и вдруг замечаю, что на улице пусто. И вроде бы день, а город как будто вымер. «Господи, – шепчу, – не дай умереть! Помогите!» Смотрю, на ступенях старик появился. Обычный старик. И только глаза у него какие-то странные – зелёные, как бутылочное стекло. И смотрят они, не мигая, и будто бы сквозь меня. Оцепенел я, сам не знаю почему, и словно язык проглотил. «Бери, – говорит старик, и протягивает мне червонец. – Ты ведь за этим сюда пришёл?» А сам в это время взглядом дыру во мне сверлит. И я, представляешь, послушно беру. «Заждались тебя!» – покашливает он в сухонький свой кулачок и будто посмеивается. А мне не до смеха! Трубы горят. За ручку схватился, а двери как будто кирпичом заложили! Смотрю, и вправду заложили. Одна только ручка осталась – из кладки торчит. Для смеха, наверно, оставили. А мне уже худо совсем. Так худо, что вот-вот упаду и концы отдам. Оглядываюсь, а старика уже нет. Собрался тогда я с силами и побрёл... и сам ещё не понял, куда побрёл. Но слышу вдруг колокол. Бум! В новом, через дорогу, храме – бум! И вдруг до меня дошло, что это меня он зовёт. Короче, пришёл я во храм и на весь тот червонец свечей купил. Много свечей. Возжёл и поставил. Во здравие! И сразу вокруг светло стало. Невероятно светло! И свет этот душу мне озарил. С тех пор я и пить перестал. В смысле, запойно. А сан потом уже, через год, принял. Такая вот история у меня приключилась. Непростая история. А говорят, чудес не бывает.

– И правильно говорят, – рассказ его почему-то меня не растрогал. – По-моему, никакого чуда тут нет и близко!

– Как это нет?

– А так! Ряд совпадений. Обычных, вполне объяснимых. Немного мистических, но это, скорее, твои придумки. Реальность и бред при похмельном синдроме порою неотличимы.

– А то, что я в запой теперь не впадаю, по-твоему, тоже придумки? А знаешь ли ты, что запойному алкоголику превратиться в нормально выпивающего человека практически невозможно?

– Возможно, Тарас. Нечасто такое случается, но возможно. Мозг человека – загадка, и большая часть чудес совершается не где-нибудь, а у нас в голове. В данном конкретном случае твой мозг таким вот весьма необычным способом защитил себя от неминуемой гибели.

– Жаль мне тебя, Венгеров! – собеседник насупился.

– Да ладно! С чего это ты решил меня пожалеть?

– С того и решил, живёшь ты, а главного в жизни не понял.

– И что же, по-твоему, главное?

– А ты понаблюдай за жизнью-то... понаблюдай... А главное в ней то, что случайностей не бывает.

– Ну, знаешь ли, с таким же успехом я могу утверждать, что жизнь – это цепь случайных событий.

– Ты всё же понаблюдай, не ершись! Отмахнуться-то проще всего, – потрясает пустым графинем. – Эх! Плохо, что вина у нас больше нет.

– Отец Дионисий, не пора ли тебе на службу? Негоже опаздывать к пастве, – назидательный тембр из-за двери.

– Успеется, матушка! Не опоздаю, – священник, тихонько подкравшись к буфету, извлекает бутылку «Зубровки». – Тебе на посошок. А мне перед службой для голоса в самый раз.

– А ты не боишься нырнуть? – перехожу на шёпот. – Ну, в смысле, сорваться с катушек?

– Исключено! – напиток перемещается в те же стаканы. – Во мне сейчас сила духа такая... ну... в смысле, чтоб не запить. На десять алкоголиков хватит!

Закусываем. Наливаем. Опять закусываем. Странно, но почему-то от «Зубровки» я начал трезветь:

– Вот ты говоришь, сектант.

– Ага! Говорю! Сектант ты и есть!

– А как же Иисус, проповедующий и хулиганящий в иудейском храме? По-твоему, он тоже, получается, был сектант?

– Говори, да не заговаривайся! – Гулько отодвигает стакан и смотрит с недобрый прищуром. – Иисус – сын Божий!

– Допустим, – мне хочется непременно его уязвить. – А как быть с тем фактом, что в прошлом отец Дионисий был членом КПСС?

– Никак! – отмахивается поп. – Во время воцерковления я всё о себе рассказал. И, кстати, дисциплина у нас в РПЦ почище партийной. Жёсткая вертикаль власти. Иначе нельзя! Иначе крамола заводится.

– Крамола, это понятно. Но вот ещё о чём я хотел тебя попытать: по-твоему, что такое свобода совести?

– Ну, – он на мгновение задумывается, – так в Конституции прописана свобода вероисповедания. И-и... к чему это ты, собственно, клонишь?

– А к тому, что в моём представлении свобода совести – это нечто совсем другое, и с верой никак не связанное.

– Ну и... договаривай, что ли... – Гулько извлекает из недр подрысника сигарету и с видимым удовольствием закуривает. – Как говорили нам перед школьным сочинением – раскрой до конца тему.

– Отец Дионисий, откуда дым? Не иначе, опять ты куришь? – за дверью взволнованный голос.

– Самую малость, матушка! Самую малость! – могучая длань отмахивает в сторону форточки сизое облако.

– Сейчас поясню... попробую... Ты только меня не сбивай. И без того алкоголь мешает сосредоточиться.

Под окном появляется молодой, с ключковатой бородкой священник:

– Отец Дионисий, пора вам! – гнусит нараспев. – Народ во храме собрался. Певчие давно уж на крылосе. Волнуются все.

– На клиросе! Сколько тебя учить?! Ты ж не хохол, сын мой?! По-русски – на кли-ро-се! Разволновались они, смотри-ка ты! Начинай без меня. Иди и служи! Я занят пока.

– Да как же это, отец Дионисий? Да я же не облачённый ещё! Да что же это такое творится-то?

– Так ступай и скорей облачайся, каверза!

Попик убегает, задравши подрысник. В оконце мелькают подмётки его сапог.

– Послал же Господь помощничка! Спит и видит себя на моём месте, – негодует Гулько. – Полагаю, что и владыке это он про меня доклады-

вает. А кто же ещё-то? Уж больно наш владыка осведомлённый. Итак, свобода совести и свобода вероисповедания. Ты утверждаешь, что это два разных понятия.

– Конечно, разных! Ничего я не утверждаю, но могу пояснить, почему так думаю. Совесть ведь это понятие более широкое, что ли... присущее как верующим, так и неверующим.

– Это всё общие фразы. Давай на примере.

– Пример, говоришь?.. Да вот, хотя бы, такой. В Сербии в сорок первом году военный суд Вермахта приговорил к смерти несколько мирных жителей, подозреваемых в пособничестве партизанам. Их вывели к стогу сена и завязали глаза. Команда – хальт! Но тут один из солдат объявляет, что он не палач и в мирных граждан стрелять не будет. Тогда офицер предлагает ему на выбор: или выполнить приказ, или встать к стогу. Подумав немного, солдат оставляет винтовку и становится к стогу.

– По-твоему, это и есть свобода совести?

– Именно так. У человека был выбор.

– Солдат этот мог быть и верующим.

– Мог. Но мог и не быть. Пора мне, Тарас. Спасибо тебе.

– За что?

– За хлеб-соль, за беседу. За всё!

– Хорошо, коли так... – Гулько поднимается и вполголоса проговаривает молитву.

Во дворе припаркована новая «Волга». Как это раньше я не обратил на неё внимания?

– Шикарная тачка!

Обхожу. Заглядываю вовнутрь. В салоне отделка из кожи и карельской берёзы.

– Положено мне... кхе... кхе... – священник смущённо покашливает. – По сану положено. Я всё-таки предстоятель.

Слышно, как в храме запели певчие. У ворот останавливаемся.

– Душа у тебя не на месте, Серёга. Думаешь, я не заметил? Исповедоваться бы тебе надо.

– Перед кем? Перед тобою, что ли?

– Зачем передо мной? Перед Ним, – священник указывает на небо.

– Перед Ним я уж как-нибудь сам. Без посредников. Прощай, Тарас. За угощение ещё раз спасибо.

– Храни тебя Бог!

В спину, как выстрел, ударил колокол. Замираю и невольно оглядываюсь. В воротах отец Дионисий, с поднятым на уровне глаз троеперстием. Уж не меня ли он крестит?

Спрыгнув с подножки автобуса, вижу, как из магазина выходит дядь Лёня. В руке у него длинная, растянутая почти до земли авоська с джентельменским набором – бутылкой вина, буханкой хлеба и парой консервов «килька в томатном соусе». В глазах негодующий блеск:

– Дожился на старости лет! Ага!

– Что случилось, дядь Лёнь? До чего это вы дожились?

Он достаёт из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист:

– До чего... до чего... Вот, полюбуйся! До протокола, дак, стало быть!

Читаю вслух: «...означенное празднующее животное ударило рогами в мягкие ткани гражданку» такую-то...

– Ну, может быть, ты мне объяснишь? Что это значит – шатающееся? Он что... баран мой, с репою, что ли? И в какие такие другие ткани он должен был её ударить?! – дядь Лёня достаёт из авоськи бутылку и, продавив крепким своим мизинцем пробку вовнутрь, прикладывается. – Будешь?

Я отрицательно машу головой!

Как выясняется из дальнейшего повествования, у барана дядь Лёни сегодня был звёздный час: по всем, что называется, правилам боевого искусства он наконец-то прицельно атаковал развешивающую бельё заведующую детсадом. Та, как только сумела подняться (баран ей активно в этом препятствовал), так сразу же побежала к участковому. Отсюда и протокол.

В городке дядь Лёня останавливается и грозит в сторону гаражей кулаком. Оттуда доносятся пьяные выкрики, оказавшиеся в итоге нестройным началом песни «Таганка».

– У, оборотень, дак! – негодует дядь Лёня.

– Оборотень? – честно сказать, я не сразу врубаюсь, кого он имеет в виду.

– Оборотень в погонах и есть! Составляет на законопослушных граждан свои протоколы! И это вместо того, чтобы ловить преступников! Видишь ли ты, баран мой боднул эту толстозадую в мягкие ткани! А не хрен этими мягкими тканями провоцировать! – потрясая ополовиненной бутылкой, уходит.

«Все ночи полные огня!..» – взвивается над гаражами баритон Обнимакина.

«Зачем сгубила ты меня-а...» – подхватывает дружная компания.

А мне-то куда податься? В библиотеку? К Нине? Когда-то красота её сводила с ума! Да и теперь ещё... Нет. Даже её мне не хочется видеть.

«Я твой бессменный арестант... – выводит Обнимакин. – Погибли юность и тала-ант...»

В прихожей ботфорты. С размаху футболу их в угол. Настохренели! Олеськи опять нет дома. Ложусь на диван, прикрываю глаза... и чувствую, как уплывает сознание.

– Выбирай, – отец Дионисий стоит у крестов с холодной усмешкой. Той самой, которую так боялись в общаге зелёные первокурсники.

– Этот, – указываю на деревянный. Он представляется мне легче, чем бронзовый.

Кряхтя от натуги, священник укладывает мне на спину крест. Ого! Шаг, второй, третий... Невмоготу! Ноги подгибаются и дрожат. Ещё один шаг... ещё... Позорище-то какое! Сейчас упаду.

– Поддержи немного! Перехвачусь, – поворачиваюсь к отцу Дионисию.

– Не можно!

Откуда он выкопал это «не можно»? Лицо его вне моего поля зрения, но кажется мне, что священник хихикает.

– Дружочек ты мой, сиротинка моя, сейчас... сейчас помогу! – подбегает горбунья в чёрном.

Пытаясь подлезть под крест, она суетится сверх всякой меры и тычет горбом мне в лицо. Горб её мягок, как студень, и излучает невероятную вонь. Я и без этого еле держусь на ногах, а тут ещё и дышать становится совершенно не вмоготу.

– Уберите её! – кричу из последних сил.

– Воля твоя, – священник, уже не скрываясь, хохочет. – И коли не жалко тебе озорницу нашу...

Из-за голенища сапога он достаёт сапёрную лопатку (неужели всегда её там держал?!). Горбунья, замороженно глядя на заточенное остриё, падает на колени в благоговейном ужасе:

– Благослови, отец родной! Век не забуду!

– Не надо! Не трогай её! – кричу я.

Не обращая внимания на мои вопли, отец Дионисий страшным своим оружием рассекает студенистый горб. Женщина верещит и плюётся кровью. После второго удара горб распадается надвое, и оттуда вываливается зловонный комок червей. Их так много, что кажется, будто они заполняли не только горб, но и всю эту женщину целиком.

Да! Так и есть! Только чёрное её облачение валяется теперь на земле.

Расползаясь, черви оставляют повсюду похожую на блевотину вонючую серую слизь. Оскользнувшись на ней, я падаю. Рёбра мои под тяжестью креста хрустят и ломаются. «Кто-нибудь... ну, хоть кто-нибудь!..» – пытаюсь позвать на помощь, но рот мой сию же минуту наполняется скользкими тварями. Они проникают в меня повсюду – в уши, в ноздри, в глаза, в задний проход. Они пожирают меня изнутри. Становятся частью меня. Становятся мной! Но я не хочу!.. Я не смогу так!..

– Ты взял не свой крест! – смущённо склоняется надо мной отец Дионисий.

Он осеняет меня троеперстием, и лицо у него при этом сочувственно-скорбное. Хитрец! Я знаю, теперь уже точно знаю, что с первой минуты, когда ещё мне на спину укладывался этот крест, он только и делал, что надо мной смеялся.

Горшков прикатил на ферму телегу с сеном. Под самый конец рабочего дня. Охалками он сбрасывает его на землю. Я подцепляю на вилы и – в сенник.

Водолярская крутится рядом:

– До темноты-то управитесь? А если нет? Да что же это вы так неэкономно распределяете! Эх, сразу видать, не скирдовали! Утаптывать надоть! Места ещё эвона сколько!

Уставший от активности бабки Горшков очередную охалку опускает ей прямо на голову:

– Уйди, мать! Без тебя тошно!

– Ещё бы не тошно! Хе-хе! Вона, светло-то как! – старуха, посмеиваясь, отряхивается.

Только теперь замечаю, что под глазом у Олега фингал, а на руках и на подбородке ссадины, похожие на порезы.

– Такие вот, понимаешь, дела! – закончив разгрузку, он глушит мотор и усаживается рядом на корточки.

– Дела? Какие дела? – пытаюсь поддержать разговор.

– А такие, вот, понимаешь!.. такие!.. – нервно и сразу в глубокий затыг закуривает. – И что этим бабам нужно?

Хотел бы и я это знать! Однако же делаю вид, что знаю:

– Как это что? Что-нибудь этакое... завлекательное и чтобы, конечно, денег побольше.

– Это понятно. Денег побольше... это понятно... Но тут у меня такое серьёзное дело... Присматривает мне мать невесту. Уж год, как присматривает. А меня это, между прочим, бесит. Девицы те, что она предлагает, им лишь бы замуж. Всё рав-

но за кого, но замуж. А я-то хочу, чтоб девушка, как минимум, мне понравилась. И чтобы запала она на меня, понимаешь? По-настоящему! Пусть и не как в кино, но чтобы не просто так... чтобы чувства какие-то. Короче, заметил я в Петрозаводске одну девчонку. Кассиршей в диетстоловой работает. На Карла Маркса. Миниатюрная, скромная с виду. Зацепила, короче! Как в город приеду, так сразу же в эту столовку бегу. Будто диетчик какой! А она, представляешь, такая... ну прямо цыпа! У тёток на раздаче спрашиваю: «Не замужем ваша кассирша?» – «Нет, – говорят, – не теряйся, парень!» А я и не теряюсь. Улыбаюсь ей. Смотрю, и она улыбается. Целый месяц мы так улыбались, а вчера наконец надумал я её в кино пригласить. Поближе, так сказать, познакомиться. В «Калевале» билеты купил. И фильм подходящий. «Унесённые ветром». На вечер, естественно. На двадцать ноль-ноль. Стою, значит, в очереди и думаю, как ей об этом сказать. Речь подготавливаю. А прямо передо мной кавказец. Метр с кепкой. Короче, рассчитывается он и сладко так этой кассирше поёт: «Ах, какой нэжный дэвушка! Честный слово, взял бы и покусал! Всю, понэмаешь, всю?! Бэз остатка!» Она покраснелась и говорит: «Какой вы, однако, забавный...» И это вместо того чтоб отшить его, гада! А мне даже нисколько не улыбается и вообще не замечает в упор! Тогда я разворачиваю этого джигита к себе и говорю: «Слушай, а если я приеду к тебе на Кавказ и захочу покусать какую-нибудь горянку, да ещё и объявлю об этом на всю столовую?» Он мне в глаза, паразит, смеётся и говорит: «Живой бы ты от нас нэ уехал!» Пред-

ставляешь, я бы не уехал, а он, получается, уедет! Обидно мне стало. Улетел он, короче, в зал собирать столы. А я, как ни в чём не бывало, поворачиваюсь к девице и говорю: «Позвольте вас, милая барышня, пригласить на вечерний сеанс, на замечательную картину про унесённых ветром». С полминуты она на меня смотрела так, будто язык проглотила, и вдруг как заорёт: «Милиция! Помогите!» И, дура, бегом к телефону. Тут чувствую, кто-то в глаз мне – бац! Оказывается, джигитов было двое. Второй, между прочим, парень здоровый. Но я-то в ДШБ* служил. Короче, перехватил его через пояс и головой – в окно! Следом и сам за ним шагнул. Вот, оцарапался... – трёт подбородок. – Обидно мне! Понимаешь, до слёз обидно, что русские наши бабы вот так западают на этих кавказцев! А, собственно, почему? Ведь с ними и поговорить-то не о чем!

– Так они и не говорят. Да и не все западают, а те лишь, которые к деньгам и к носатым брюнетам неравнодушны.

– Так ведь и я не блондин! – встряхивает Горшков тёмно-пепельными кудрями. Шевелюра у него такая, что любая модница позавидует.

– Но ты-то в кино приглашал, а этот кавказец быка за рога – покусая и всё тут!

– Хочешь сказать, чем наглее, тем лучше?

– Получается, так.

– А я не согласен! Чем так, лучше вообще никак!

– И правильно, Горшочек! В кино это всё-таки лучше, чем сразу кусаться! – выглядывает из-за

* ДШБ – десантно-штурмовые батальоны.

угла Водолярская. – А девка-то эта... тьфу! Не жаль! Плохая она! Такая, что хуже некуда!

– Нехорошо, баба Настя, подслушивать, – отмахивается тракторист.

За разговором стемнело. Запустив мотор, Горшков под светом фар разглядывает что-то у обочины.

– Иди, посмотри, – указывает на застывшую в грязи вмятину, – лапища какая!

– Думаешь, волчья?

– А чья же ещё-то? Собак на объекте лет десять как нету.

Олеська в ночной сорочке стоит перед зеркалом:

– Я и не думала, что значу для тебя так много, – оглаживает себя по бёдрам. – Хорошенькая я, правда? Вчера ты под утро опять меня звал во сне. Зачем, интересно? Но, кажется, я догадываюсь. Ла-ла-ла...

К сожалению, это правда. Она мне снится. Снится едва ли не каждую ночь! Но неужели я так себя выдаю?

– Тебе показалось, – отворачиваюсь и закрываю глаза. Хорошо бы и уши закрыть.

– А тебя не смущает, что на ночь я не надеваю трусики? Ла-ла-ла!.. Хочешь посмотреть? – голос её становится чуть хриловатым.

– Хм... гм... – в горле першит.

– Не хочешь, как хочешь! – вползает под одеяло. – Боже! Как холодно! Ты, как всегда, не нагрел мою половину!

– Ха-ха! – смеюсь по слогам.

– Ничего тут смешного! Ты возомнил себя сверхчеловеком! На самом же деле ты просто за-

конченный эгоист! И, кроме себя, вообще никого не способен понять.

– Теперь у тебя есть тот, кто способен.

– Да, есть! И пусть он ничем не лучше тебя, но он меня любит! Любит, понимаешь?

– Интересно, как это проявляется?

– Проявляется? Да очень просто проявляется.

Вчера он опять предлагал мне уехать в Питер. Сказал, что звонил друзьям, и они его ждут. То есть нас ждут! Он не считается ни с чем! Он настоящий мужчина!

– Настоящий мужчина?! Ещё и любит?! Чего же ты ждёшь?! Поезжай!

Тянусь к выключателю.

– Ты был моим первым! – колено её у меня под боком. Отодвигаюсь на край. – А первого не так уж и просто вычеркнуть! И кто тебе сказал, что со мной ты должен быть непременно счастливым?

– Никто!

– Вот видишь! Никто! Ты думал, что жена – это кукла для секса! И ножки раздвинет вовремя, и всё остальное...

– Да! Именно так я и думал.

Зачем я позволил втянуть себя в этот бессмысленный разговор? Опять до утра буду пялиться в потолок. Олеська всегда засыпает мгновенно. Я тоже хотел бы так. Вот только бы снов не видеть.

Снег. Сегодня это даже не снег, а белые перья. И падают они, и кружатся, будто кто-то на небе вспорол перину.

Лес. Никогда ещё я не видел его таким торжественным.

– У-ух! – ухает филин. – У-ух!

Сердце немного щемит. Отчего? Неужели оттого, что вернулась сказка? Или, может быть, оттого, что сегодня сбудется невозможное?

Да! Непременно сбудется.

Стоп! Кто это говорит со мной? Я не хочу! Не хочу, чтобы сбылось!

Врёшь! Давно уже хочешь!

Я не хочу!

Врёшь!

Лесная поляна в сугробах, но почему-то тепло. Странно, ведь так не должно быть. Олеська в сорочке до пят. И Нина. Красавица Нина в роскошном вечернем платье.

– Серёжа! Иди же ко мне, – она улыбается.

Нина... милая Нина, зачем ты со мной играешь? Я скоро возненавижу твою красоту!

– Май хезбенд! – смеётся Олеська, и смех этот сводит меня с ума. – Она ведь почти старуха! А я, представляешь, опять без трусиков. Ведь ты же соскучился?

– Без трусиков? Как вульгарно. Фу! – Нина брезгливо морщится.

– Подумаешь! – Олеська поводит бёдрами и хлопает себя по животику. – Мужчины любят, когда вульгарно! Каждая женщина хотя бы пять минут в день должна быть вульгарной. Просто обязана!

Лицо моё заливают краской. Я в полной растерянности и не знаю, что делать.

– Ла-ла-ла! – Олеська соблазнительно пританцовывает, задирая сорочку всё выше и выше.

И вдруг между ног у неё появляется голый крысиный хвост. Он омерзителен, с длинными редкими остями. Я отступаю назад, спотыкаюсь, падаю. Нина хохочет, и смех её множится эхом.

– Муж и жена – одна сатана! – вцепившись железной хваткой в мою штанину, Олеська подтягивает меня к себе. – Отруби его, слышишь! – пытается всучить мне откуда-то появившийся у неё топор. – Руби! Ты ещё можешь спасти меня!

Я вырываюсь, цепляюсь за камни, за снег, но силы в ней столько, что справиться невозможно.

– Трус! – тычет остриём топора мне в лицо. – И никакой ты не сверхчеловек!

Кровь заливает глаза. Руки слабеют.

Но... неожиданно падает, звенит по камням топор. Что это?.. Боже!.. Да это же филин – мой старый, мой добрый приятель – с визжащей, обезумевшей от страха крысой взмывает ввысь.

Падает снег. Падает на свежие раны. Волшебные перья лечат. Порезы мои заживают мгновенно. Трогаю лоб и щёки. Даже рубцов не осталось.

– Я здесь! Чего же ты ждёшь? – Нина подходит ближе и дрожащими пальцами расстёгивает на платье молнию. – Ты же всегда так бессовестно меня разглядывал.

– Да, но не так уж бессовестно!

– Ну так целуй же скорее! – она наконец-то справляется с молнией, и платье её расходится пополам, обнажая телесного цвета кружевное бельё. – Смелей, дорогой мой, мой милый Серёжа... сегодня я буду немного бесстыдной... Ты хочешь?

Господи, как же она хороша!

– Да! Давно уже только этого я и хочу!

– В лунном сиянии снег серебрится... – из лесу слышится песня.

Нина запахивает платье. В глазах у неё отчаяние.

– Этот звон, этот зво-он...

Голоса разбиваются на октаву.

– О любви-и говорит...

Так вот же, оказывается, кто это так хорошо поёт. На поляну выходят Володя и чёрт. Нина, застёгиваясь на ходу, устремляется к мужу и нежно его целует:

– Не спрашивай ни о чём!

Чёрт опускается перед ней на колени и, ёрничая, молитвенно складывает ладони. Нина не замечает его или делает вид.

– Да... я и не собирался, – Володя смущённо берёт её под руку. – Зачем мне о чём-то спрашивать, когда я люблю тебя?

– Золотое правило! – подмигивает мне чёрт. – Я тоже никогда никого ни о чём не спрашиваю.

Он забирается к Нине под платье, и все они дружно покидают поляну. Густые, струящиеся с неба перья, заносят следы.

Завтра облава.

Хотели по чернотропу, но снегу за четверо суток намело, как в хорошую зиму. Сугроб на сугробе. А волки обнаглели настолько, что ночью – уже два раза – заходили в деревню. Судя по отчётливым следам у края дороги, их было трое. Один – очень крупный. Такой с человеком справится запросто. Бабы со страху ругают охотников – когда, мол, наведёте порядок? Те меж собой посмеиваются. Женские страхи – повод для смеха известный.

В облаве решил участвовать.

Патроны добыл без особых трудностей. Обменял на бутылку водки у хмурого деревенского мужика. Тот поначалу вынул из патронташа семь.

Но, выдержав паузу, во время которой глаза его сошлись к переносице (так, вероятно, осуществлялась работа мысли), шестой и седьмой заложил обратно.

С ружьём оказалось сложнее. Никто не даёт. У Шлёмова, после случая с кришнаитами, ствол конфискован. Дядь Лёня и Федя-конюх в облаве участвуют сами. Отказал и Леонтий Федотович. А ведь у него, помимо новенькой «бескурковки», должна быть ещё и «курковка», и старая одностволка. Ведь именно с ней мы с Дулеповым-младшим когда-то гоняли зайца. Ну, что ж, на нет, как говорится, и суда нет.

Отчаявшись, я готов был... по правде сказать, и сам ещё я не решил, на что был готов, но тут получилось так, что само Провидение постучалось в мою квартиру.

– Я слышал... хк... Не удивляйся... хк... – в обресе участкового Обнимакина Провидение пьяно икало. – Ты, говорят... хк... ружьё тебе нужно...

Я закивал, с излишним, наверно, усердием. В надежде пересилить икоту участковый вдохнул как можно больше воздуха и замер с выпученными глазами.

– Пойдём, что ли... хк!.. – прошипел на выдохе.

Мы поплелись к гаражам. Там он попросил подождать и вскоре вернулся с замотанным в ветошь предметом.

– Вот! – выдохнул алкогелем. – Бери... хк... бери, пока я добрый! В облаве, чем больше народу, тем лучше.

– Внимательный ты, – съязвил я, но сразу поправился. – В смысле, о людях печёшься.

– После охоты вернёшь. Мне лично! – он по-

смотрел оценивающе, будто видел меня впервые. – Сам понимаешь, у меня обязанности! А обязанности – это, скажу я тебе, не просто так. А главное... хк... тсс! – приставил к губам палец. – Чтоб ни одна... хк... живая душа!

Дома учинил осмотр. «Тулка». Обычная одностволка. Калибр шестнадцатый. Как раз под мои патроны. Глубокая борозда на прикладе. Ну-ка, ну-ка... Похоже, царапина-то знакомая. Ну да, ну конечно же... Эх, Леонтий Федотович! Со мной так и разговаривать даже не стал, а участковому так сразу – пожалуйста!

Утром человек двадцать охотников толпились у ворот КПП и травили байки. Двое хвалились новенькими, купленными к сезону «пятизарядками». Ружья подвергались детальному осмотру, передаваясь из рук в руки:

– Двенадцатый калибр никак?

– А что? Двенадцатый теперь ходовой.

– Да ну, ходовой!.. А расход пороха?

– Порох-то да! Порох, конечно! Но убойная сила-то больше.

– Да ладно вам, мужики! Тут дело в привычке. С шестнадцатым, если умело заряд положишь, завалишь и косолапого, и сохатого запросто.

– Это без разговору! Если умело положишь, то да...

Поглаживая ствол карабина, за гомонящим собранием с крыльца КПП наблюдал Подшумок. На службу он приезжал из Петрозаводска и к деревенским мужикам всегда относился с оттенком пренебрежения. Мужики это чувствовали и, в свою очередь, не упускали случая его поддеть.

– Дед! А дед! – окликнул ветерана кто-то из молодёжи. – Последний-то раз из карабина своего когда палил? У него уж, поди, и ствол-то набок!

– Эт член у ты набок! – глаза у охранника вспыхнули злобным пламенем. – А я, если что, в затылок не промахнусь. Допросися, падла!

Он принялся высматривать остряка, но тот затерялся в гогочущей гуще и больше шутить не решился.

Заградительные флажки притащил Федя-конюх. Большущий мешок. Для «нужного духа» хранят их обычно в уборной, что сразу же все почувствовали.

– Самое то! Амбр-ра! – выдохнул через губы Федя.

После короткого совещания флажки растянули почти до озера. Метрах в ста пятидесяти от берега закруглили петлёй.

Разделились примерно поровну: десять застрельщиков на номерах, остальные – в загон. Жебровский и Дулепов-старший, как самые опытные волчатники, набросали схему, где каждому был обозначен свой номер и, соответственно, сектор обстрела.

Меня, как «первопольного», поставили на самый, что называется, безнадёжный участок – на стыке соснового бора и ельника. Вероятность выхода зверя на этот открытый простреливаемый прогал была минимальной.

Завершив расстановку, Жебровский сверкал белозубой улыбкой и перешучивался с охотниками. Почему-то захотелось, чтобы он посмотрел мне в глаза. Но этого не случилось.

Добравшись до места, я утоптал позицию у двух отдельно отстоящих от бора сосен. Из снега соорудил что-то вроде бруствера. Флажки протянулись ниже. От них до заснеженных ёлок примерно шагов шестьдесят-семьдесят. Ни зверю, ни человеку не спрятаться. Но зверь мне как раз не нужен. А тот человек, что нужен (я видел схему) поставил себя загонщиком в мой сектор обстрела. Всё вышло, как нельзя лучше. Иначе пришлось бы меняться с другим охотником. Но выгодный номер никто бы мне добровольно не уступил.

У каждого мужчины есть право на выстрел. Осталось проверить, смогу ли я это сделать? Надеюсь, что да. На охоте случайными выстрелами убивают кого угодно, и даже себя.

А то, что двое детей останутся сиротами? Но почему, в конце концов, я должен об этом думать? И почему бы для таких, как этот Жебровский, не развесить повсюду наглядную агитацию со следующим смыслом: «Товарищ! Прежде чем лезть под юбку чужой жене, подумай о своих детях!»

Отдавшись потоку мысли, я не сразу заметил, как в ельнике с нижних веток осыпается снег. Явно там кто-то бродит. Ничего... ничего... Перчатку долой! Спокойно. Вводим курок. Выцеливаем.

Стоп! Я облизал пересохшие губы и облегчённо вздохнул.

Крупный матёрый волк и тёмная с белёсыми подпалинами волчица, выскользнув из-под еловых лап, замерли у флажков.

Я поднял ружьё, прицелился. Но тут же и опустил.

А дальше случилось то, что случилось. Не каждый охотник поверит, но я это видел своими глазами.

Перепрыгнув флажки, волчица устремилась к сосновому бору. Диагональная, почти боковая мишень. Расстояние – не больше тридцати шагов. Если бы я надумал стрелять, то даже навскидку не промахнулся бы. Но я не надумал. Ведь я здесь совсем не за этим. Волчица, поскуливая и вихляясь, всем своим видом подзывала впавшего в ступор волка. Постояв с полминуты, тот двинулся вдоль ограждения к озеру. Тогда она вернулась и вновь перепрыгнула через флажки – ещё и ещё раз. Напрасно! Самоуверенность волка вела его к гибели.

Но разве у нас, у людей, не так? И не становится ли женщина мудрее мужчины в минуту опасности?

В итоге волчица вернулась к своему спутнику. Тот семенил вдоль флажков и отстранялся, слегка огрызаясь, когда она пыталась лизнуть его в морду. Упрямый, красивый самец, уверенный в своём праве на лидерство.

Провожая их взглядом, я приподнялся над бруствером и вдруг осознал, что не стал бы стрелять в эту пару. Не стал, даже если бы задача моя состояла именно в этом.

Я улыбнулся им вслед и ещё продолжал улыбаться, когда от сосны, перед самым моим лицом, брызнули ошмётки коры. И только через мгновение я услышал выстрел. И сразу – второй! На бруствере взметнулся фонтанчик снега. Били прицельно. В этом сомнений не было. Укрывшись за деревом, я тоже спустил курок. Бух! В ельнике дёрнулись ветки. Чёрт побери! Кто тут за кем охотится?

Не дожидаясь ответного выстрела, кинулся в сторону бора. Ноги увязали в снегу, но кажется мне, что так быстро никогда я ещё не бегал. Стремительными бросками – от дерева к дереву. Отдышаться решился тогда лишь, когда редкоствольный бор сменился густым ольховником. Да и силы, признаться, оставили. Опустился на снег и сразу увидел кровь. Неужели задело? Снежным шершавым комком промокнул лицо. Ерунда! Щепой оцарапало щёку.

Раз, два, три, четыре!.. Выстрелы. Снизу, со стороны озера. Пять, шесть... гуляют охотники... семь, восемь...

Интересно, зацепил я его или нет?

За гаражами «разбор полётов».

Четыре волчицы и крупный матёрый волк застыли в перепачканном кровью снегу. Не звери уже, а трофеи.

– Экземпляр! – потрепал по загривку матёрого Леонтий Федотович. – Наконец-то и мне повезло. Как, Федя, считаешь, – молодо посверкивая глазами, он повернулся к конюху, – а, повезло?

Буркнув что-то невразумительное, тот закурил и пожал плечами.

– Врёшь! Повезло! – настаивал Леонтий Федотович.

Из последующего рассказа стало понятно, что Федя слегка опешил, когда этот зверь устремился напрямик на него. Саданул два заряда навскидку и промахнулся. Выручил Дулепов-старший – деловито прицелился и, ясное дело, попал!

– Гордись! Чяво там! – отмахнулся конюх. – А я бы его всё одно приколол. Ножом приколол бы!

– Ан не приколот! – продолжал наседать бывалый волчатник. – Штаны-то, небось, ничего!.. Застираются штаны-то?

– Ну, ты уж, Федотыч... Штаны-то причём? Ты, вроде, учитель. Культурный, вроде, мужик! – обиделся Федя.

Охотники галдели и пили. Жебровского среди них не было.

«Неужели не промахнулся? Неужели попал? – опустившись на корточки, я принялся поглаживать волка. Шерсть у него оказалась жёсткая и какая-то маслянистая. – А, может, не просто попал, а убил? Обычно ведь так и бывает. Выстрелил наугад и убил. Лежит там сейчас... с такими же вот остекленевшими глазами, – волна тошноты подкатила к горлу. – И что же теперь? Выходит, жалею? Нет, не жалею. Это другое... И в меня, конечно же, он стрелял. Без всякого сомнения, он! Обнимакин едва ли бы на такое решился. Да и не видел я его среди охотников. Но раз он всучил мне это ружьё, то нельзя исключать, что всё у них было продумано... в деталях продумано...»

– Пей, первопольный!

Мне щедро набулькали в кружку. Я выпил до дна и обернулся к Леонтию Федотовичу:

– Ствол-то кому возвращать? Вам или участковому?

– Ты думаешь, я не заметил? – он даже не удивился вопросу. – Сразу узнал. Я ведь свою одностволку по бою слышу. Враз отличаю. Что промахнулся, так это ещё и лучше. Зверя-то прямо на нас выгнал. А ружьишко у кого брал, тому и верни. Участковый, он всё-таки власть. А власть, она, знаешь, обидчива! Э-э, брат, кровь у тебя откуда!

Что со щекой?

– Ерунда! – я зачерпнул горсть снега и приложил к ссадине. – Как говорится в приличном одном анекдоте, на сук напоролся.

В то, что Леонтий Федотович по бою узнал ружьё, конечно, не верилось. Но охотник, он ведь на то и охотник, чтоб складно соврать.

– Сивыч кричит – добивай, добивай! – вклинился сиплый, высокий тембр деревенского мужичка. – Хребет у неё перебитый. Извивается, сука! А я, дак, прикладом её! Прикладом!

Алкоголь притупил и сузил сознание. Сиплая фистула рассказчика зазвучала далёким фоном.

«Им нет до меня совсем никакого дела. И хорошо, что нет. Но если он и вправду лежит там? Сходить бы и убедиться. А если лежит, что дальше? Вернуться и торжественно объявить им, что я убийца? И что они сделают? Арестуют? Заломят и свяжут верёвкой руки? А дальше? Кинут вот так же на этот окровавленный снег до приезда милиции?»

– Где ствол? – Обнимакин, при погонах и затаенный в портупею, возник неожиданно.

– Дома, – на ватных ногах поплёлся к подъезду.

«Зачем я так много выпил? Ведь становлюсь совершенно непредсказуем, когда напьюсь! А кто предсказуем? Этот, что ли?» – я обернулся на участкового, с мрачным лицом шагающего чуть позади.

В коридоре, протягивая ружьё, я на мгновение потерял равновесие и вынужден был ухватиться за его ремень. Освободившись от моего захвата, он посмотрел с удивлением:

– Да ты сегодня, чувак, в настроении.
Переломив одностволку, пальцем проверил нагар:

– Стрелял?

– Как видишь. Не чистил ещё. Не успел.

– Патроны все израсходовал?

Вопросы его начинали меня бесить (да и какой я ему «чувак»?).

– Послушай, Обнимакин. Только внимательно и не перебивай! Патроны я брал не у тебя. Ружьё забирай или оставь почистить. Мне не трудно.

– А ты не груби! – он сузил глаза и заиграл желваками. – Трудно, не трудно!.. Завёлся! А кому щас легко? Кому?! У меня, между прочим, обязанности! Ты даже не можешь себе представить, насколько серьёзные!

– Действительно... хех!.. – не надо мне было так много пить, ведь даже рассмеяться не смог, как следует. – Но мне интересно другое. С чего это ты вдруг так обеспокоился и всучил мне это ружьё? А? Наверно, чтоб я убил волка? Но, видишь ли, всё оказалось гораздо хуже. Теперь я уже не знаю, убил или промахнулся.

– Ты промахнулся, когда сюда приехал. Охотники решили, что больше в облаву тебя не возьмут. А чего это ты так удивляешься? Успокойся! Ведь ты самовольно покинул номер!

– Никто мне ничего такого не говорил.

– Тебе и не скажут! Потому что ты чувак. Понял? А чужаков здесь не любят.

– Тоже мне, открытие! Их, чтоб ты знал, нигде не любят. Но, может, вернёмся к обязанностям? Ты только представь себе, Обнимакин, какой непочатый край обязанностей у полицейских из

Интерпола! А всё дело в том, что у Ренуара из тысячи копий картин сохранилось четыре тысячи! Представляешь?

– Какой Ренуар?! При чём тут обязанности? Мне юмор твой что-то не нравится!

– И мне не всегда он нравится. Но что тут поделаешь?

Он наморщил лоб, собираясь что-то ещё сказать, но я буквально выдавил его дверью на лестничную площадку.

Чужак?.. Пусть так. И всё же никак не возьму в толк, за что этот увалень в погонах меня ненавидит? Жебровский – понятно. И Шлёмов – понятно. А этот за что?

Напиться мне, что ли? Но выпито и так уж изрядно. И сколько можно?! Пожалуй, чаю. Да. Чай отрезвляет. И хорошо бы цейлонского. Ещё оставалась пачка. И где-то на полке был йод. Царапину надо прижечь.

Не найдя ни того, ни другого в кухонном шкафчике, я глянул в окно и столбенел. Жебровский и Олеська стояли у подъезда и о чём-то беседовали. Держал ли он её за руку? Возможно, держал, но утверждать не берусь, потому что в глазах у меня потемнело.

Заметив, что я их рассматриваю, Олеська шмыгнула в подъезд и, судя по шуму воды, она уже в ванной. Покашливает и вызывающе громко сморкается.

Как скверно, что я промахнулся, а ведь почти уже начал жалеть, что убил.

Жебровский, оставшись один, поднял на меня глаза и улыбнулся своей рафинадной улыбкой. И ещё он кивнул мне. Кивнул, как старому другу. Я

машинально тронул саднящую щёку и отвернулся. Да, отвернулся! Чтоб не кивнуть в ответ. Ведь ненависть... она как любовь. Она оглушает!

– Я, знаешь ли... я, наверно, должна... – Олеська появилась на кухне и встала у меня за спиной. – Терпеть не могу это слово! И всё-таки я должна...

– Не напрягайся! – я сунул руки в карманы, чтоб... да мало ли зачем я их сунул в карманы! – Ты ничего не должна мне.

Глянув в окно, я увидел, как Жебровский направился в кочегарку. Одет он был – я это только теперь отметил – в рабочую робу. Так вот почему его не было на фуршете – сегодня он в смене и подменился лишь на время облавы.

– И всё же послушай, – Олеська решительно всхлипнула.

«Ну, что за напасть-то такая! – с удивительной быстротой я начал трезветь. – Ведь если она, не дай бог, заплачет, то непременно опять превратится в крысу? А хвост? Куда она в этом случае денет хвост? Привяжет к ноге? Боже, ведь я уже начинаю сходить с ума!»

Пока я заваривал чай и трезвел, Олеська передумала плакать и деловито продолжила:

– Теперь мы могли бы вполне доверять друг другу. Ведь мы совершенно свободны! От всех обязательств! От пошлых условностей брака! Но парадокс в том, что, несмотря ни на что, чужими мы так и не стали.

– Бред какой-то, – сказал я негромко, скорей для себя, но она услышала.

– Нет! Никакой не бред! Так получилось. Ты всё ещё близкий мне человек. И с этим я ничего не могу поделать.

Ну почему... почему у меня в горле опять першит, а в глазах как песку насыпано?

Не желая участвовать в этой комедии, я вышел и плотно прикрыл за собой дверь. Устроившись на диване, врубил телевизор. Что там у нас на втором канале? Ага!.. Аналитическая программа «Взгляд». Весёлый усатый ведущий поблёскивает очками. Он явно доволен собой и своей эрудицией. О чём это он вещает? О том, что войны на Кавказе не будет? Или всё-таки будет? Война это что – необходимость или безумие? Вопрос, что называется, зависает. Но у ведущего есть ответ. Он улыбается и, значит, ответ очевиден.

– Послушай же, наконец! – Олеська рванула провод и телевизор умолк. – Это серьёзно! И, пожалуйста, не строй из себя сверхчеловека! Я расскажу тебе всё, как есть, а ты постарайся понять!

– Понять? – глаза у меня полезли на лоб. – Ах, да! Ну, конечно, понять... ведь проще-то и нет ничего.

– Так вот! – она оправила юбку и уселась рядом. – Я проходила... так получилось... он вышел из кочегарки и позвал меня. Но если ты думаешь... ты неправильно думаешь. Могу тебя успокоить...

– Не надо меня успокаивать.

– Ну, как же ты не поймёшь? Ничего же не было! Он просто проводил до подъезда. Не знаю, как объяснить, но у него какая-то власть надо мной.

– Эта власть над тобой у каждого второго самца.

– Перестань! Я всего лишь несчастная женщина, которая наконец-то узнала, что достойна люб-

ви! Он любит! В отличие от тебя! Да! Да! Представь себе! Он снова предлагал мне уехать. Он сумасшедший! Не остановится ни перед чем!

Она опять оправила юбку, но тут же притянула к подбородку оголившиеся колени, и мне вдруг захотелось, чтобы она их уже не прятала. Странное желание. Ведь ноги её никогда мне особо не нравились. Ну... разве что в чёртовых этих ботфортах.

А что если взять её прямо сейчас? Стремительно, пока она вот так рассуждает? Я вдруг рассмеялся, представив её в откровенной позе, ничуть не располагающей к рассуждениям.

– Ну, что тут такого смешного? Кому я рассказываю? Кому? – капризно надула губы. – Так вот! Не знаю, как это случилось, но я согласилась уехать. Какая же я ворона! Уехать? Куда? Кому я нужна в этом Питере? Мне нравятся его чувства, его настойчивость. Но я не поеду! Ведь я не люблю его!

«Совсем она, что ли, свихнулась? Нашла на кого выплёскивать свою откровенность...»

– Когда я поняла это, я испугалась. Ведь он ненормальный! Решительный, очень решительный! Он может убить!

– Не может.

– Но с ним я могла бы быть счастлива!

– Нет. Не могла бы. Для этого ты слишком примитивно устроена.

– Ты врешь! Ты всегда мне врешь! Что... что ты делаешь?

Да вроде бы ничего такого особенного. Погладил коленку. Мне стало вдруг любопытно, как переменится выражение её лица.

– Ты... ты жестокий! Ты знаешь, ты кто? Ты законченный циник!

Ну вот и переменялось. Потупился взор, и сразу же зазвучала знакомая детская хрипотца в её голосе, та самая, что всегда сводила меня с ума:

– Да, циник и бессовестный эгоист! О, Боже!.. Перестань! Прошу... Ну, что же ты делаешь? Да-да!.. Вот так! Наконец-то! Я очень соскучилась. Я хочу! Ты хочешь? Возьми же!.. Возьми, как ты хочешь! Да, грубо возьми! Скорее! Ведь ты мой мужчина. Всегда был мой!

«Месяц, месяц, мой дружок,
позолоченный рожок...»

Ненавижу я этот месяц. Уж слишком он слепит и слишком безумен. Себя ненавижу тоже! Но больше всего – её, похотливую сучку, уснувшую на моей руке. Спит, и волосы по подушке, и рот до ушей. Чему улыбается? Да знаю я, знаю чему!

Не нужен был нам этот секс.

И что только эти самцы в ней находят? Как только смывает краску, так сразу – обычная серая мышь. Ничего особенного. А я? Что я в ней нашёл? Учёные утверждают, всё дело в запахе. Наклоняюсь к размётанным волосам, вдыхаю. Ну да! Ну, конечно, в запахе.

А ведь если я захочу, то запросто узнаю про всех её этих ё... Ё-моё! Да ведь это же мне как два пальца!.. Гипноз. Странно, почему до сих пор я не сделал этого? Боялся, что выплывет нечто такое, с чем станет непросто жить?

Растолкав Олеську, ввожу её в состояние транса. Нет, не забыты уроки Валентика. И как это, оказывается, просто... монотонно и просто:

– ...ты слышишь мой голос, и только мой голос... сегодня ты вспомнишь всё...

Рассказывай же, Олеська, рассказывай, не смущаясь. А я буду слушать и вовремя загибать пальцы.

Итак: одноклассник Витольд, гандболист Надир, агроном Форточкин, механик Левин, тверские студенты-заочники, кавказец в поезде, тренер по вольной борьбе, компания пьяных корейцев в Н-ске. Стоп! Да ведь это уже диагноз. Кавказец, корейцы, заочники – конечно, диагноз! А в Сельге? Кто в Сельге-то был у тебя, Олеська? Жебровский? И всё?! Ну, неожиданно... и прямо порядочность даже какая-то.

Ха-ха! А ведь этот чудак Жебровский, оказывается, такой же законченный олух, как я! В любви признавался. Готов был семью оставить. Звал в Питер. Кого? Мессалину – в Питер? Ха-ха! А, собственно, почему бы и нет? И что же это я так иронично? Нельзя иронично! Ведь речь о любви! О великом чувстве!

Вернув в состояние обычного сна Олеську, я вышел на кухню. Меня колотило так, что лязгали зубы.

Зачем я полез к ней в душу? Зачем?!

Месяц пропал. За окном чернота. Лишь в кочегарке – квадраты окон. Жёлтые, как глаза... не помню уже, у кого из мифических персонажей глаза были жёлты.

Сегодня он там один. И хорошо, что один.

Утром опрокинулась закипающая кофейная турка. Сама по себе. Потом я случайно смахнул с подоконника гранёный стакан, и он разлетелся в

брызги. Кто-то боится дурных примет, но я в них не верю. Взял веник, совок. А кофе по-новой сварю.

Олеська позвонила заведующей детсадом. Сказала, что на работу сегодня не выйдет. Мол, заболела. Не первый уж раз отпрашивается вот так. Теперь, как обычно, закрывается в ванной и будет негромко выть. Интересно, о ком? Уж точно, не обо мне. Говорят, что плакать полезно, но к Олеське это отношения не имеет. Ведь стоит ей пустить слезу, как неминуемо распухает нос, и она превращается в крысу. Естественно, я начинаю давиться от смеха. Ведь это смешно, ну, правда смешно, когда на твоих глазах смазливая вроде бы физиономия превращается в крысиную.

Плохо, что она продолжает мне сниться. Впрочем, если верить учёным, то именно так, через сны, очищается подсознание. Недаром же бросившим курить продолжает сниться, что они всё ещё курят.

Кофе горчит. Задумался и много смолол.

Не нужен был нам этот секс. Теперь уже ясно, совсем не нужен.

У кочегарки столпились люди. Полгородка, не меньше. Что-то случилось? Кого-то выносят?

Когда я подошёл, его уже уложили на лавку. Штанина задралась и обнажилась голень. На грязном промасленном одеяле она выделялась какой-то хирургической белизной. «Хорошо, что лицо накрыли, – подумал я. – Покойники иногда улыбаются, а эта его сверкающая улыбка была бы сейчас не к месту...»

Люди говорили растерянно и негромко. Прибывающие хмуро здоровались и косились на тело.

«Кто обнаружил? Беда-то какая! Как теперь Катерине одной? Двое сирот... младшего только-только от груди оторвала...»

Неожиданно зарыдал Обнимакин. Заголосил так, что, кажется, задрожали окна. Женщины потянулись к глазам платками.

Дядь Лёня едва ли не силой отвёл его в сторону:

– Ты это... ты, участковый, реветь перестань! Расследовать надо. Висельник, дак! А вдруг, как не сам он, так что?

– Кто-то к нему заходил... за-заходил, это точно... – забубнил Обнимакин с утробными всхлипами. – Ты тоже, дядь Лёнь, по... это... поспрашай народ. Может, кто видел чего. Тебе ведь скорее расскажут. А я разберусь... обязательно разберусь! Обязанности у меня такие, во-о всё разбираются.

Потянули за рукав:

– Мне надо кое-что вам сказать. Здесь неудобно.

Плачущая мадонна? Почему она не у тела? И что ей от меня понадобилось?

– Доигрались? – продолжила Катерина, когда мы отошли немного поодаль.

– В каком это смысле?

– А в таком это смысле! Все вы тут!.. – кивнула на толпу, и лицо её сделалось каменным. – Думаете, они сочувствуют? Как бы не так! Ведь мне тут даже поговорить не с кем. Да и с вами, если по-хорошему, говорить не о чем! Почему? Да потому, что вам сразу надо было их уничтожить! Обоих! Сжечь в гараже! Бензином облить и сжечь! А вы вместо этого стали названивать мне!

– Я позвонил вам всего лишь раз. И очень об этом теперь сожалею, поверьте!

– А, впрочем, не такой уж вы трус, – быстрым, едва уловимым движением пожала мне руку. – Не удивляйтесь, но он рассказал мне про вашу дуэль в лесу. Теперь понимаю, зачем... теперь уже всё понимаю...

Дуэль? Едва ли это была дуэль. Помолчали. Капризные губы её приблизились:

– Сказал, что убивать не хотел. Но, если бы убил, не жалел бы.

– Вы ненормальная, что ли! Зачем вы мне всё это рассказываете? Замолчите!

– Сами молчите и слушайте! Этот дурак участковый раструбил уже всем, что ночью в кочегарке у него кто-то был. Так вот! Это я заходила. Не утерпела! Объясниться надумала! Они ведь у подъезда опять ворковали. Прямо под нашими окнами! А ведь он обещал... Короче, настохренило мне всё это! Пустырника себе полфлакона накапала. Легла, а сна ни в одном глазу! Встала и поплёрлась к нему среди ночи. Определись, говорю, если ты мужчина – или с этой сучкой, или с семьёй! А уедешь, так не заплачу. И детей, если что, сама подниму. Он рассмеялся и говорит мне, мол, не волнуйся ты так, определился я, теперь уже точно определился.

Она закусила губу и умолкла. На нас уже начали обращать внимание.

– Хоронить-то где решили? – спросил я, чтоб не молчать и поскорей от неё отвязаться.

– В Подпорожье. С отцом его только что говорила по телефону. Сказал, что из морга заберёт его сам и сразу увезёт домой.

– Морг в Петрозаводске?
– Естественно. Где же ещё?
– Поедете с ним?
– Нет! И детей не пуцу. Сегодня же – в Падву! С вещами! К родителям! И к чёрту эту квартиру! Проклятое место! И знаете что... – в глазах у неё появилась живая искорка. – Едва ли теперь мы увидимся, поэтому скажу уж, как есть. Жалею, что мы не отомстили ему! Не переспали то есть. Теперь-то уж смысла нет.

С застывшей улыбкой она отвернулась, и я поспешил домой. Какая необходимость была для этого разговора, я так и не понял.

– Как он посмел?
Олеська стоит у окна и сморкается в полотенце.
– Зачем он... зачем же так?! Почувствовал, наверно, что я не поеду... ни в Питер... ни вообще никуда?! Ну что ты молчишь?!
– Мне на работу пора. Опаздываю. Тут где-то была заварка. Я покупал недавно. Цейлонский. А сахар... не знаешь, куда мне отсыпать сахар? Сюда, что ли? – сворачиваю из бумаги кулёк.
– Какой тут может быть сахар?
– Обыкновенный сахар-песок, – пожал я плечами, – с которым обычно пьют чай или кофе.
– Ты... ты бездушный! Случилась трагедия! Он ведь любил меня! Слышишь, любил! А теперь его нет!
– Может, любил. Может, и совсем не любил. Теперь уже точно никто не скажет.
– О, господи, какой же ты циник!
– Нет... не думаю... не такой уж и циник.
В окно я увидел, как тело под руководством

участкового погрузили в подъехавшую машину. Толпа начала расходиться. Олеська, уткнувшись в полотенце распухшим носом, отчаянно заскулила и осела по стенке на пол.

Когда я вышел во двор, у лавочки не было ни души. Как будто и смерти ничьей здесь не было. Лишь жжёный, пропитанный угольной пылью снег утоптан был всюду сильнее обычного.

«И кто, интересно, в смене? Не Шлёмов, случайно?» – подогреваемый любопытством, я заглянул в окно кочегарки и тут же отпрянул.

Стоящий на подоконнике деревянный чёрт смотрел на меня своими внимательными, жёлтыми, как у совы, глазами. Конечно, я сразу узнал его. Да и как не узнать? Единственная удачная работа Володи. Как хорошо, что он мне тогда не всучил его. «Где чёрт, там несчастье!» – не помню уж, где и когда я вычитал эту фразу. А, может, не вычитал, может быть, знал изначально? Ведь генетическая память, что бы там ни говорили по этому поводу скептики, существует.

– Остаёшься за начальника! – крикнул Дулепов из форточки отходящего ПАЗика. – Я отчёты повёз, – зачем-то поднял портфель и выразительно им потряс. – И это... про сено не забудь! Напомни Горшкову. Прямо сейчас напомни!

Я сделал ему отмашку и обрадованно кивнул. Обрадованно потому, что оставшись в вагончике, он непременно мешал бы мне осмыслить всё то, что случилось ночью.

Кавказ вот-вот полыхнёт войной. Об этом уже говорят открыто. В теленовостях всё чаще мель-

кают полевые командиры. Бородатые. Дерзкие. Смеющиеся крепкими, отливающими здоровьем зубами.

Туда и поеду. Это и есть решение.

Но оказалось, что воплотить его в жизнь не так уж легко. Вчера от военкома выслушал следующую отповедь:

– Ты думаешь, старлей, там каждого ждёт геройство? – он зевнул, прикрывая ладонью рот, и нервно подёрнул плечами. – Грязь, смерть и мерзость! Вот что там ждёт. И вообще, призывать резервистов команды не было. Призовём, когда Отечество будет в опасности. А пока свободен. И не доставай меня больше. Будешь доставать, отправлю туда, где Макар телят не гонял! На Чукотку поедешь. Понял?

– Не. На Чукотку зачем? На Чукотку не надо, – улыбнулся я вонкомовской шутке и решил пробиваться другим путём.

Вечером взял у почтальонки ключи и набрал Олонец. В этот раз Мохов подошёл к телефону сам:

– Я понял, что это ты. Излагай. Коротко только. У нас тут ЧП. В Костомукше двух моих парней положили. Видел? Да, в новостях показывали. Вчера хоронили. Достойные были ребята. Ты сам-то как? Не надумал ко мне? Понимаю, у каждого свой выбор, своя судьба. Да, я услышал тебя. Прионежский военком, говоришь? Значит, уровнем выше надо. На генерала. Попробую. Я не сказал, что невозможно! Но сам понимаешь, что просьба у тебя уж больно какая-то странная – попасть на войну, которой пока ещё нет. Короче, решим! Отправим, куда захочешь. Завязки есть. Сейчас про-

даётся всё и всё покупается. Ага, демократия называется. Что? Нет. Звонить мне пока не надо. Я сам тебя наберу. Что?.. У тебя через коммутатор? Напомни номер. Диктуй. Записываю. Да. Есть. До связи.

В Прионежском ЗАГСе нам выдали свидетельство о разводе. Оба экземпляра заполнены детским корявым почерком, с подтёртыми кое-где помарками. Не иначе, кого-то из двоечниц пристроили делопроизводителем.

До автобуса оставалось два с половиной часа, и мы это дело решили обмыть. А что тут такого особенного? Событие равнозначное бракосочетанию. Сошлись на том, что ресторан «Северный», с его основательной мебелью и просторным залом, заведение для этого случая вполне подходящее.

– Красивые у вас глаза, – взглянул я на подошедшую к нам с блокнотом неприступного вида официантку.

Кроме замечательных глаз, у неё ещё были роскошные бёдра, которые сами на себя обращали внимание.

Она затеребила блокнот и натянуто улыбнулась:

– Положено так... чтоб красивые были.

– Я не о том, что положено, милая девушка. В такие глаза, как у вас, влюбляются сразу и навсегда.

Лицо у неё просияло. И тут я зачем-то спросил:

– Скажите, пожалуйста, Моренко и Штеменко сегодня работают?

– Да, – улыбка исчезла. – В вечернюю смену. Вы что-то хотели им передать?

– Да нет... я так... просто знакомые... Передавать ничего не надо. А нам принесите, пожалуйста, два эскалопа, два салата из свежих огурцов, триста грамм водки, бутылочку минеральной воды и кофе.

– Кофе тоже два?

– Естественно. И, если можно, сразу расчёт.

– Расчёт? Хорошо. Как скажете. Заказ ваш будет готов через двадцать минут.

Спиртное, минералку и салат подали сразу. Выложив на стол свидетельство о разводе, я окропил его из рюмки.

– На счастье! – остаток выпил.

Олеська искривила гримасу:

– У каждого из нас есть право на счастье и на несчастье, – и тоже выпила.

Её показная весёлость меня покорила. Не то, чтобы сильно уж так покорила, но кровь ударила в голову, это точно.

– Будьте любезны, – подозвал я официантку, только что принявшую заказ у шумных офицеров, расположившихся у эстрады, – подойдите, пожалуйста, к нам, дорогая... дорогая наша...

«Куда это меня опять понесло? «Будьте любезны» – понятно. И с чего бы это ей со мной не быть любезной? Но почему «дорогая»?.. и тем более «наша»?»

подавая горячее, она оказалась так близко, что бедра в ажурных чулках раз или два коснулись моего локтя.

– Скажите, пожалуйста, как вас зовут? – избразил я обаятельную улыбку. – Мне это очень важно. Не думайте только, что я несерьёзен. Я крайне серьёзен.

– С-света... меня зовут, – в глазах у официантки мелькнула растерянность.

– Света? Да ведь у вас же прекрасное имя! – я встал, поклонился (прищёлкнув слегка каблуками) и взял её за руку. – А взгляд?! У вас удивительный взгляд! В нём любопытство и глубина. В нём жизнь! А жизнь ведь это всегда загадка! Давайте же мы попробуем эту загадку разгадывать вместе. Света! Дорогая Светлана, а что если нам прогуляться по набережной. И может быть, даже завтра! Не хотите по набережной, пойдёмте в кино, – я помахал свидетельством о разводе. – Ведь с этого дня я человек совершенно свободный! Вы слышите, как звучит эта фраза? Как голос судьбы – со-вер-шен-но сво-бод-ный!

Рассмеявшись, она освободилась от моего пожатия, но сделала это с некоторой жеманностью:

– Ясно, свободный. Свободные тут все почему-то Моренко спрашивают. Горячее подавать?

– А что же ещё остаётся, Света?! Конечно, горячее подавать! Но знайте и помните, милая девушка, всё, что я вам сейчас сказал, далеко не шутка! – я опустил на стул и посмотрел на неё завороченным взором. – Ваша улыбка... ваши глаза... (мысленно добавил «и бедра, конечно»). Слишком уж всё серьёзно!

Она, продолжая смеяться, ушла, но ушла в этот раз красиво – накручивая роскошным задом восьмёрки и гордо расправив плечи.

– Фигляр! – фыркнула Олеська. – А официантка эта твоя – ту-ту! – крутанула у виска пальцем. – Полная дура! Прекрасно же видит, что ты не один. И вообще, официанткам, между прочим, запрещено флиртовать с клиентами!

– Разрешено! – за «фигляра» захотелось её полить. – Если перед мужчиной лежит свидетельство о разводе, официанткам разрешено всё!

– И ладно! И пошёл ты к чёрту! – Олеська глотнула из рюмки. – А спать всё равно вернёшься ко мне. И будешь опять меня звать во сне! Ха-ха!

– Не буду! Успокойся! Уже не буду!

– Будешь! Потому, что ты любишь! Оказывается, ты меня любишь! Я даже не думала... не знала, что это так!

– Заткнись, – сказал я негромко.

Лицо её мгновенно покрылось красными пятнами. «Неврастеничка! Неужели опять заплачет?» – я посмотрел с любопытством, но слёз не случилось. Наверно, потому, что она налила себе водки и выпила, и сразу ещё налила и опять выпила.

Официантка принесла счёт. Немного подумав, сунула мне в руку записку:

– Это мой телефон. Ничего не имею против кино и уж тем более прогулок по набережной.

Подмигнула Олеське, и я посмотрел на неё с восхищением – умеют же эти женщины уничтожить. Лёгким, почти незаметным штрихом уничтожить напрочь!

Когда же она, покачивая бёдрами, продефилировала по залу, офицеры у эстрады умолкли и сделали стойку.

В автобусе ехали молча. Да и о чём говорить? Плохо, что спим мы всё ещё на одном диване.

Дома Олеську прорвало:

– В этой официанточке читается сразу всё. Прямолинейная, как танк! Классическая охотница за мужиками!

«Не такая уж прямолинейная и не очень классическая», – подумал я.

– Ха-ха! Телефончик дала. Да ты от таких охотниц всегда убегал. Боялся напора! Поэтому и выбрал меня. Ты думал, что я овечка?! Что буду тебя опекать и терпеть?! Все твои выходки!

– Остановись! Ты выпила лишнего и лучше меня не трогай!

– А что ты мне сделаешь? Что?! Убьёшь? Давай же, давай! Смелее! Думаешь, я испугалась?

– Думаю, да.

– Опять сверхчеловека из себя строишь! А я, между прочим, знаю о тебе гораздо больше, чем... – она на секунду задумалась, говорить или нет, – чем ты даже можешь себе представить. Да, я читала твой дневник. Ведь ты его даже не прятал. Ты думал, что я не посмею? Наивный идеалист!

«Действительно... идеалист, ещё и неумный, похоже...» – под рёбра буравчиком врезался холодок.

– Так вот! В этой твоей тетрадке, кроме стихов, которые, по счастью, меня не волнуют... там много о бабах. Ты пишешь, я даже запомнила: «Красивую женщину хочется непременно обнять!» Ха-ха! Донжуан-зоотехник! Возомнивший, что понимает в женщинах. Так вот! Ничего ты не понимаешь! И с этой официанткой... Она ведь совсем не нужна тебе! Прогулки по набережной? Неужели у тебя хватит ума позвонить ей? Смешно! Света её зовут! Ха-ха! И как же не повезло этой дуре!

– Ну, почему же так сразу – не повезло?

– Да потому, что ты поиграешь с ней месяц-другой и бросишь. Ты и меня бы бросил! Да! Бросил

бы! Если бы не беременность. И это я тоже в твоём дневнике прочитала. Ах, какой я герой! Женился на этой овечке! Ха-ха! Переиграла тебя овечка.

– Да, – я улыбнулся. – Переиграла. И не меня одного.

– Ты... ты... не смеешь о нём! Не смеешь! – уткнувшись в ладони, она завывала.

«Подол ей, что ли задрать? – подумал я. – Ведь стоит задрать, и всё переменится! А говорит, я не знаю женщин...»

Коридор универа. Паркет. И повсюду солнце. Она у окна. Смеётся. И смех этот с детской подкупающей хрипотцой мне нравится. «Олеська, ты вот что, – беру её за руку, – ты главное не заплачь...» – «Захочу – и заплачу», – капризно надувает губки. «Не надо, прошу тебя! Ведь ты, когда плачешь, превращаешься в крысу. А я их терпеть не могу!» – «Ну, что ты? – тон у неё игривый, недоумённый. – Ты всё перепутал. Первокурсницы не бывают крысами...» – «Ты первокурсница?» – «Да!» – «Тогда, конечно... если первокурсница, то конечно. А снишься ты мне зачем?» – «Этого я не знаю. Никто не знает. Но чувства бывают сильнее, когда их хотят убить...» – «Убить?!» – «Да! Ведь ты убиваешь!» – «Олеська! Ты снова мне врешь, Олеська! Ведь ты уже давно не первокурсница!»

Толчок в плечо:

– Ага-ага! А говорил, что не будешь больше звать меня!

– Не звал я, не фантазируй!

– Ха-ха! На магнитофон тебя, что ли, записывать?

– Нужна ты мне триста лет!

«Ну, почему... почему в голове не предусмотрен какой-нибудь специальный тумблер, такой, чтобы щёлкнуть и выключить разом все эти сны?!»

– А я, между прочим, выспалась.

– И что из того?

– Ну... как это что? Ла-ла-ла!..

В декабре полыхнуло. В мятежной республике много погибших и раненых. Из телевизора – полный бред. Такое впечатление, что дикторы новостных каналов радуются неудачам армии и милиции.

Я должен быть там! На этой войне. И даже не хочу объяснять почему.

Кальянов давно не звонил. Что с ним? Ведь он на границе с мятежниками. Куда подевался Мохов? Не водит ли он меня за нос? Совсем уже я превратился в какого-то жалкого канцеляриста – отчёты, накладные, журналы.

Заскучав от бумажной работы, сам напросился к дядь Лёне на перевозку сена, того, что косили летом и оставили в стожках на лесных полянах. Поляны глухие. Не к каждой такой подберёшься на тракторе. Поэтому возим на нашей лошадке. Сани арендуем у Феди-конюха. Аренда негласная. Хотели по закону, но директор падвинского совхоза озвучил такую сумму, что Дулепов, за глаза, конечно, обозвал его акулой капитализма. У конюха прејскурант оказался ещё советский – бутылка водки за день аренды.

– Хороший был строй – социализм! – резюмировал Дулепов.

Выезжаем по-тёмному. Снегу в этот год навалило столько, что лошади по старой лежнёвке приходится торить дорогу грудью.

Устроившись в саях поудобней, смотрю на небо – глубокое с нежно-розовой бахромой на востоке. Кругом тишина. Под звёздами она кажется вечной. Единственное, что нарушает безмолвие – шуршание наших полозьев и мерное глубокое дыхание лошади.

С дядь Лёней не скучно. Человек он живого ума. К тому же читающий всё подряд, без разбору. По этой причине и тему, которая занимает его в данный момент, заранее угадать невозможно.

Сегодня настрой у него философский:

– Я это, дак... я, собственно, вот о чём... Как хочешь, а нашу Россию-матушку без мистической составляющей представить никак невозможно!

– Это почему же, дядь Лёнь?

– Пример тебе нужен? Пожалуйста! Вот те пример! Династия Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась, дак, в Ипатьевском доме.

– Случайность, дядь Лёнь.

– Э-э, не скажи! Империям без мистики никуда. Вот в Риме, недавно узнал, последнего императора, как и первого, звали Ромул. Какая же это случайность? А этого проходимца Ельцина кто у нас выбирал в президенты?

Эту фамилию он всегда произносит на китайский манер – с ударением на «и».

– Дядь Лёня, причём тут Ельцин? Вы вроде как о мистике начали.

– Вот именно! Всем миром смеялись, дак! Клоун, ещё и пьющий! А получилось-то что? Получилась беда! Посмеялись, да выбрали! Разве не мистика?!

– Подтасовка, дядь Лёнь.

– Много ты понимаешь! Подтасовка – та же мистика. Ни один из моих знакомых за этого алкаша не голосовал, – я человек пятьдесят расспросил! – а он – бац-бац и в дамках! Ага, дирижёр, твою мать! Когда он этим оркестром в Германии стал дирижировать, так я от стыда чуть под стол не полез. Позорище! Тьфу!

Спорить с дядь Лёней не хочется. Да и, собственно, не о чем. Он ведь и есть тот самый народ, на который так любит ссылаться любая власть.

Подъехав к стожку, принимаемся укладывать и утаптывать сено.

Пока управлялись, совсем посветлело. Проснулись и «затукали» клювами в соседнем ольховнике дятлы – в красных нарядных чепчиках, пёстрые, деловитые. «Синь-пинь, тинь-синь!» – засуетились в ветвях синицы и прочая птичья мелочь.

Лес оживает стремительно. Мне кажется, что я начинаю его понимать. И знаю теперь уже точно – он лечит. Он забирает боль.

Обратной дорогой разговор не клеился. Глядя на перекатывающийся лошадиный круп, я то и дело задрёмывал. Дядь Лёня курил папиросу за папиросой и поглядывал на меня с затаённым в глазах вопросом.

– Да-дак... это... я вот о чём хотел тебе сказать, – он наконец кашлянул в рукавицу. – Ты только не думай, что я это самое, дак!.. Мужик я прямой. За глаза не люблю... Так вот! Жаль мне Жебровского, понимаешь! Хороший был парень. И на гитаре у него складно получалось. А тут такое... Ни слова тебе, ни полслова – и жизни решил! Не так тут всё просто. И, собственно, вот я о чём...

В городке говорят, что это ты заходил к нему ночью.

– Не говорят случайно, что я помог? – заслонившись рукой от слепящего снега, я вдруг почувствовал, как неприятно под рёбрами заворочалось сердце.

– Дак это... не думаю, что уж так-то зашло далеко... – он выпустил дым через ноздри и нервно подёрнул плечом. – Помог, это вряд ли.

– Дядь Лёня, кхм... кхм!.. – голос мой сделался хриплым. – Скажу, что не заходил, всё равно ведь вы мне не поверите? Так?

– Отчего ж не поверить? Поверю. Но участковый наш всем уже растрепал, что у тебя мотив был. Мол, пришёл ты и наговорил ему всякого. В петлю ведь человек просто так не полезет. А он музыкант... он ранимый. Тут понимать надо!

– Музыканты, они, конечно... – я что-то хотел добавить по поводу повальной ранимости музыкантов, но передумал.

– Пошла, родимая! Но! – дядь Лёня ударил поводьями лошадь и досадливо покачал головой. – Дети остались. Мальчишки, дак. Такое вот дело... у вас-то понятно, коса, как говорится, на камень нашла. А дети-то... вот в чём дело. Сиротство – всегда беда! Да и Жебровский... весёлый он был. И волчатник хороший! Ты тока на меня, парень, зла не держи. Ты это... ты тоже нормальный вроде. А я говорю, как есть.

Сани скользили. Круп перекатывался. Я чувствовал, как колотится в горле сердце. Дядь Лёня кряхтел и дымил папиросой.

Зачем он завёл этот разговор? Наверно, и сам он не смог бы ответить – зачем.

Дулепов поджидал нас у фермы. Поздоровавшись, он схватился за вилы и принялся помогать перетаскивать сено в сенник. По напряжённой его физиономии было понятно, что в наше отсутствие что-то случилось. Расспрашивать я не стал. Созреет, расскажет.

Покончив с разгрузкой, переместились в вагончик. Там, встав у окна, наблюдали, как «скифские бабы» полдничают. В этот раз бутерброды запивались чаем из термоса. Над кружками вился пар, и даже в вагончике было слышно, как эти «индивидуальности» зычно сёрбают.

– Эта твоя Водолярская... – Дулепов опустил на стул и заворочал глазами. – Воровка она оказалась!

– Водолярская? Воровка? Ну, почему же сразу она моя?

– А чья же ещё?! Чья, интересно, она подчинённая? И кто должен был за нею следить? Кто?!

– А разве следить нужно было? На ферме чистота и порядок. Да и вообще, дисциплинированная вроде бы старушенция.

– Вот именно, вроде бы! А следить за этой дисциплинированной должен был ты! Моя задача – общее руководство! И я не могу и не должен, ну как ты не можешь понять?!

– Ясное дело, не должен, – закивал я. – Пять или пятьсот подчинённых, ведь разницы нет. Начальник за всех в ответе!

– Не надоело тебе? – Дулепов поморщился. – Ведь есть же, кроме этой злобной иронии, что-то в тебе человеческое?

– Нет! Ничего уж почти не осталось! Но рас-

скажи лучше, что стряслось? Похоже, ты выяснил наконец, почему упали удои?

– Представь себе, выяснил! А схема у этой бабки была такая. После каждой дойки она уносила с собой четыре трёхлитровых баллона. По два на каждую руку. В деревне продавала. Мне же ещё и пожаловалась, что больше унести не могла. Мол, годы уже не те! Представляешь?! Прячала их в ста метрах от проходной, там, где лаз. Выкопала ямку. Сверху маскировала её фанерой и дёрном. Пятый баллон относила на проходную. Мол, тихо, ребята, никто ничего не видел. Вохровцы партизаны те ещё оказались! И участкового прикормила. Баллон в неделю – ему. Короче, круговая порука!

– Мафия! – я не удержался и прыснул. – Классический вариант сращения преступного элемента и власти!

– Хорош тебе ржать! Получается, что две из двенадцати дойных коров работали исключительно на карман Водолярской. Видел бы ты, в какое она пришла негодование, когда я ей это озвучил! «А как ты хотел, милоч? – говорит. – В совхозе мы так и работали!» Я объясняю: «Это же, Настасья Петровна, при социализме так было. Сейчас-то совсем другое дело – капитализм строим!» Тут она как заорёт на меня: «Мироеды! Капиталисты проклятые!» Поддала ногой подойник и прочь! Через час прибежал её внук и притащил заявление на увольнение.

– На чём же она прокололась?

– На жадности! Не нравился ей по каким-то причинам дед Подшумок, и стала она приносить ему не по три, как остальным «вохровцам», а по два литра. Естественно, тот затаил обиду и, как

старый чекист, копнул под неё всерьёз. Отследил эту бестию «от» и «до»! А утром сегодня подзывает меня и говорит: «Леонтьич, разговор есть!» Ну и всю её преступную подноготную как на ладони мне выложил.

– Этим старым чекистам палец в рот не клади!

Подшумок вызывал во мне неприятие и симпатию одновременно.

– Послушай, Венгеров, – тон у Дулепова перестал быть начальственным, – а ты бы не мог?.. Только не думай, я буду, конечно, искать человека, и всё такое... Не мог бы ты поработать на ферме какое-то время? Ведь ты же всё знаешь и всё умеешь. И подоить, и накормить, и корма запарить.

– Конечно, ага, ещё и убрать, и помыть, и навоз выгрести. Универсальный ковбой!

– Ну, не бесплатно же! К окладу за совмещение – тридцать процентов по КЗоТу! А тридцать процентов разве бывают лишними?

– Тридцать процентов, говоришь? – я почесал в затылке. – Ну, так уж тому и быть. Тем более что пока человека нет, деваться нам всё равно некуда, считай, что уговорил.

– Утрём этой Водолярской нос! – оживился Дулепов. – Думала, старая, буду её упрашивать! Как бы не так!

– Э-э, погоди! Неделю, ну, максимум две поработаю. За этот срок ты должен кого-нибудь подыскать.

– Вообще не проблема! Падвинский совхоз на грани развала! В Сельге безработных доярок, как грязи! В очередь выстроится! Увидишь! Мы ещё конкурс устроим! Или этот, как это сейчас называется, кастинг.

Подъём у меня теперь в четыре утра. С пяти до семи – дойка. До десяти уборка, приготовление и раздача кормов, уход за телятами. Домой прихожу к одиннадцати. Обмывшись, отдыхаю, читаю, обедаю. К четырём – на вечернюю дойку. И так ежедневно. Зато засыпаю теперь в любом положении. Бессонницы – в прошлом.

Через неделю заклинило поясницу. На сквозняках по-другому и быть не могло. Через две – занесли суставы пальцев. Оказывается, не так это просто – таскать за соски по два раза в день двенадцать коров. А ведь казалось со стороны, что доярки проделывают это играючи.

Через месяц я осознал, что Водолярскую нужно понять и простить. Подумаешь, приворовывала. Какие-то несколько литров! Теперь, даже перед самым строгим судом, я готов был встать на её защиту. Я показал бы судье её руки – красные, опухшие, ревматические.

Встречая Дулепова, я задавал ему вопрос, умеющего в короткое слово:

– Когда?

Улыбка моя при этом едва ли была приветливой. Наконец он не выдержал и решился сказать мне правду:

– Ничего не получается! Стена, понимаешь?! А Водолярская та ещё оказалась кликуша! Пустила по деревне слухок, что у нас тут в подсобном хозяйстве «бесстыжий капитализм». Бесстыжий?! Каково, а?! Теперь деревенские бабки мне вслед плюются!

Эх, Настасья Петровна! А ведь я уже почти оправдал вас – за незавидную долю вашу, за тяжкий крестьянский труд.

Март.

Тяжелеет и оседает снег. Лес оживает. В солнечный ясный день особенно это заметно. На ветке сосны меня по утрам поджидает мой старый приятель. Мой филин. Он беспощаден, он убивает крыс. А я?.. «Ла-ла-ла...» – поёт она перед тем, как юркнуть ко мне в постель.

Вот уж четвёртый месяц, как я универсальный ковбой. До самых корней волос я пропах навозом, и этот убийственный запах живёт во мне самостоятельной жизнью. Выходные? Ни одного пока ещё не было. Три раза я уже принял коровьи роды. Эти новорожденные телята такие забавные. Но я уже ненавижу себя. Ненавижу коров и ферму. И даже беспомощных этих телят ненавижу. Я просто устал.

Дулепов, помахивая портфелем, стоит на подножке служебного ПАЗика. Спешит в управление.

– Послушай, патриций! – хватаю его за рукав.

– Да помню я, помню! Не получается пока. Ищу. Скоро заменим.

– Я не об этом хотел спросить, – бесцеремонно стаскиваю его с автобусной подножки на землю.

– Напомни, пожалуйста, какого цвета у тебя диплом?

– Ты что творишь-то, э?! – оправляет и отряхивает рукав. – Причём тут диплом? Потерпи немного. Я же сказал! Совсем чуть-чуть! Не паникуй, понял?!

– Я понял, можешь не продолжать! Теперь вот хочу, чтобы ты меня тоже понял! Это касается твоего любимого КЗоТа. Выходных у меня накопилось больше, чем на полмесяца. Вот заявление,

– сунул ему заготовленную ранее бумагу. – С завтрашнего дня на ферму я больше не выхожу! Вечером дорабатываю последнюю смену, и на этом капец. Я ведь такой же специалист, как и ты. Не дояр, представь себе, и даже не скотник.

– Как?.. Как это ты не выходишь? – Дулепов махнул водителю, и тот заглушил мотор. – А кто же работать будет?

– Не знаю, кто будет. Но есть предложение. Про диплом я, как ты уже правильно понял, спросил не случайно. Он ведь у тебя такого же цвета, как мой? Вот и поработай. Почувствуй, что это такое! Без обиды, старик, но с этой минуты я просто специалист. И чтобы сомнения твои по этому поводу развеялись окончательно, завтра же еду в город и покупаю себе точно такой же.

Я стукнул ладонью по кожаному портфелю и сделал это, должно быть, сильнее, чем следовало, потому как Дулепов вынужден был присесть на автобусную подножку. В чистых-то отглаженных брюках!

«Не слишком ли грубо я с ним обошёлся? – переживал я, шагая прочь. – Ведь он же такой ранимый!»

В Сельге переменилась власть.

Теперь это молодой лейтенант, предупредительно вежливый и непьющий. Наезжает из Петрозаводска по мере надобности.

Уволенный Обнимакин запил.

Деревенские мужики поначалу всерьёз поговаривали о намерении его проучить и устроить тёмную. Даже отыскивали для этих целей здоровенный мешок из-под кубинского сахара. Однако через

неделю-другую остыли, а вскоре и вовсе стали его жалеть, а некоторые даже и привечать – угощать алкоголем и попутно, конечно, высказывать наиболее болезненное:

– Говённый ты, Обнимакин, был участковым. Протоколы свои несправедливые на добрых и законопослушных граждан клепал! А формы тебя лишили, и стал ты такой же, как мы. Да что там! В тысячу раз хуже ты стал.

Обнимакин оправдывался с присущей ему эмоциональностью:

– Да что это вы о себе возомнили? Что милиционеры к вам с луны прилетают? Из космоса?! Ага! Как бы не так! Милиционер – это есть порождение общества. А общество наше больное. Государство прогнило и увязло в коррупции. У граждан к такому государству, соответственно, доверия – ноль! А у милиционеров ещё и обязанности! Хочешь, не хочешь, а выполняй!

– Обязанности, говоришь? Х-хе! – мужики чесали в затылках. – Деньги вымогать – вот они, все твои обязанности.

– Я и говорю – коррупция! – поддакивал Обнимакин.

Уволили его за утрату табельного оружия. Рассказывая о происшедшем, слово «табельное» он выделял особо, задирая при этом высоко указательный палец. Похоже, что горькая несправедливость увольнения таилась именно в этом слове.

Вдобавок ко всему от него сбежала жена. Прихватила дочку и пропала с концами. Жену Обнимакин любил и грозился теперь непременно её прибить. Если найдёт, конечно.

Что касается утраты ПМ, то случилась она во время очередных возлияний с Шлёмовым. Возможно, что опять между ними вспыхнула ссора. Но этого никто достоверно не помнит. Наутро обшарен был весь городок – каждый, можно сказать, сантиметр площади – у гаражей, за клубом, в песочнице, у сараев и даже в лесу.

Тщетно.

Когда уже дело передали в прокуратуру, а нерадивого милиционера уволили, пистолет неожиданным образом отыскался. Оказывается, он преспокойно лежал себе под столом в беседке. И даже ничуть не прикопанный, а на открытом, можно сказать, пространстве. До этого смотрели там несколько раз, но, видимо, не очень внимательно. Иначе не объяснишь.

– Нашёл! – радостно потряс над головой находкой Шлёмов. – Вот он, красавчик! С кого-то, ха-ха, причитается!

– Причитается? Получи! – Обнимакин отобрал у Шлёмова пистолет и сунул стволом ему в ухо.

– Э! Аккуратнее, гад! – обиделся тот. – Знал бы, вообще не искал!

Дело в прокуратуре замяли, но в органы нерадивому участковому дорогу закрыли.

– Спёкся пьянчуга! – радостно подытожила историю с утратой оружия фельдшер Маша.

Нового участкового она пригласила в свой фельдшерский пункт и предложила «посильную свою помощь в борьбе с деревенским змием».

– Дело хорошее! – принялся лейтенант к исходящему от фельдшера Маши запаху. – И знаете что, – он ободряюще улыбнулся, – начните-ка вы с себя.

Маша обиделась и обозвала его (за глаза, конечно) «возомнившим о себе ментором» («ментор» и «мент» в её понимании, скорей всего, были словами-синонимами).

И вообще этот новый участковый мало кому понравился. Принципиальный, дотошный и постоянно трезвый. И самое неприятное, что не местный. Прежний, хоть в трезвенниках не значился, но для большинства обитателей Сельги это был «свой парень», с которым, пусть не всегда, но можно было договориться.

В дверь постучали.

– Я знаю, что у тебя есть, – Обнимакин, в ките-ле без погон, застыл на лестничной клетке.

Пошарив за вешалкой, я протянул ему бутылку с остатком портвейна. Хватит с него и этого. Шагнув в коридор, он спрятал вожделенную ёмкость в карман и глянул насуплено:

– Благодарности ждёшь?

Я помотал головой:

– Жду, чтобы ты поскорей ушёл.

– Не груби! А не то... – что подразумевалось под этим «не то», осталось загадкой. – Думаешь, я только за этим? – он хлопнул себя по оттопыренному карману. – Нет, не за этим... не только... Сейчас ты поймёшь... Ты всё у меня поймёшь! Жаль, что этот пацан участковый ко мне не прислушивается. Не от большого это ума! А я, между прочим, дал бы ему расклад. Верный расклад. Я уже знаю... не думай... я точно знаю, что Катька в ту ночь была в кочегарке. Только из этого ничего не следует. Дело не в Катьке. Ты тоже ведь был. Признайся, что был, Венгеров! Ты говорил с ним. О чём?

– О том же, о чём и с тобой – ни о чём! А теперь убирайся!

– От совести не откупишься! – завопил Обнимакин на весь подъезд. – От власти-то можно. От совести – нет!

Я вытолкал его на площадку и запер дверь.

Где чёрт, там несчастье.

И если он до сих пор ещё в кочегарке, то надо его уничтожить. Не то чтобы я во всё это верю, но лучше уж кинуть в топку и пусть пылает.

Покуривающий на продавленном диване Шлёмов при моём появлении оживился и даже как-будто обрадовался:

– А, это ты? Заходи, сосед, заходи, не стесняйся! Я, знаешь ли, тут кумекаю... Жизнь, брат, такая штука, что если о ней не кумекать, останешься в минусах. – Он встал и подкинул угля в горловину топки. – Вот ты мне скажи, зачем я перебрался из городка обратно в деревню? А? Не знаешь зачем?

– Понятия не имею! Я даже не в курсе, что ты вообще перебрался.

Так вот почему не слышно за стенкой его с Виталиной ночных разборок.

– В деревне, между прочим, хенде хох! – он с чувством пригладил раскидистые бакенбарды. – Удобства, как говорится, на улице и всё такое. Но я-то привычный. Родился и вырос без этих удобств и прочее... Виталина, конечно, плачет. Упрашивает вернуться. Ага! Держи, говорю ей, шире карман! А всё потому, что достала! Не поверишь, но каждые выходные уговаривала меня поехать с ней в город. В театр ей, видишь ли, надо!

Я уж и так, и эдак, мол, жизнь у нас не хуже любого театра! Она ни в какую! Это твоя, говорит, не хуже, а моя хуже! И лезет на меня с тапком, и всё норовит по морде, особенно если я выпимши. Короче, вернулся я к первой жене. К Тоньке вернулся. Восстановил, так сказать, разрушенную по глупости ячейку общества. Тем более что сын у нас есть. Пацан, я скажу тебе, хваткий – в батяню! «Кол» вчера из школы припёр! Но дело не в этом, – Шлёмов отбросил на кучу угля окурки и заговорщицки мне подмигнул. – Появилась у меня, понимаешь, в деревне присуха. Присунул на днях тут одной разведёнке, и всё у нас, знаешь ли, честь по чести... Хенде хох, одним словом!

Я рассмеялся:

– погоди, Колян! Присуха ведь не от слова присунуть!

– А от какого ж ещё?

– От присушить, конечно.

– Ты это... не сбивай меня, понял? – он перестал улыбаться и глянул серьёзно. – Так вот! Ни грамма меня эта молодайка не присушила! А вот я ей как раз присунул! Потому и присуха! И с чего это ты вообще решил, что можешь меня поправлять?

– Это не я, это русский язык решил.

– Ха-ха! Не смейся! Русский язык – это есть что? Вспоминай, чему нас учили в школе. Ага? Вот и я о том же! Русский язык – это есть инструмент народа. А ты?.. Посмотри на себя! Ну, какой ты народ? За каждым незнакомым словом в словарь ныряешь! Ведь так?

– Ну... есть такой грех.

– Что и требовалось доказать. По всему получается, что народ – это я! И словари мои... – он

шлёпнул себя ладонью по лбу, – вот здесь они, мои словари! Понятно тебе, филолог! – ударение упало на последнее «о». – Русскому языку он будет меня учить!

Сплюнув сквозь зубы, Шлёмов схватил тележку и укатил за углом во двор.

Оставшись один, я осмотрел помещение. Ни на окне, ни в столе, ни в шкафчиках для рабочей одежды чёрта не оказалось. Стол испещрён был нецензурными выражениями, а также силуэтами женщин с завидными формами.

– Потерял чего-то? – застал меня Шлёмов заглядывающим под старый, с перекошенным зеркалом шкаф.

– Не то, чтобы потерял... – решил я раскрыть ему цель своего визита. – У вас тут, я видел, чёрт на окне стоял.

– Стоял. Было дело. Жебривский его припёр. Сказал, во дворе подобрал. Ну, мы на подоконник его сразу и выставили. Думали, хозяин объявится.

– И что?.. Объявился?

– Не! Не объявился никто. А чёрта этого Обнимакин забрал. Понравился он ему, вот и забрал. Как раз перед тем, как пистолет у него потерялся.

– Слушай, Колян, подскажи ты ему, что от чёрта этого лучше избавиться. И чем раньше, тем лучше.

– Ты что, совсем уже!.. Ты за кого меня принимаешь?! – вскинулся Шлёмов. – Сам говори! И вообще, Обнимака на меня злой. Думает, что это я у него волюну увёл, а потом в беседку подкинул.

– А разве не ты?

– Конечно! Делать мне нечего! – Шлёмов демонстративно насупил и начал закидывать в топку

уголь. – Нужен мне этот пугач его триста лет! И ты ещё тут... с этим чёртом, будь он неладен...

Я вышел на воздух.

Действительно, дался мне этот чёрт! И с чего это я решил, что надо его непременно сжечь? И как вообще эта неодушевлённая деревяшка в состоянии влиять на людские судьбы? Свихнулся я, что ли?

Апрель.

Догуливаю отгулы. С последующим увольнением. Заявление уже на столе у Гиринага.

А что там, на ферме, и кто там теперь управляется? Какая мне разница! Да пусть хоть и сам Дулепов сидит под коровой с портфелем и в шляпе. Не вижу в том ничего зазорного. В Китае, к примеру, зазнавшихся и оторвавшихся от народа крупных партийных деятелей отправляют на год или два в деревню – прочувствовать, как там живётся простому крестьянину. И звучит это даже ничуть не обидно – в воспитательных целях.

За окном оживающий под весенним светиллом аквариум городка. Дети в песочнице. Молодые мамы с колясками.

У качелей десятков подростков. По кругу – баночка с пивом. О чём они говорят? О том же, о чём лет пятнадцать назад говорили мы? Едва ли. Да и пиво тогда у нас было в стеклянных бутылках. И называлось оно всегда одинаково – «Жигулёвское». Теперь-то названий много. Но то «Жигулёвское» Кольского пивзавода – самое всё-таки было лучшее.

Баран дядь Лёни пощипывает первую травку. Заведующая детсадом из-за свежескошенного

забора поглядывает на него с опаской и ненавистью.

Куда-то спешит Горшкова. Ах, да! Ну конечно, пора ей уже обсудить последние новости с фельдшером Машей.

Нетвёрдой походкой плетётся к гаражам Обнимакин. Напрасно. Никто его там не ждёт.

Нина. В лёгком плаще. На шпильках. Цок-цок! Шагает в библиотеку. Сто лет мы уже не общались. Зачем? Ведь все разговоры её о Кижках, о новом заказе, с которым Володя вот-вот уже должен справиться.

Мохов наконец позвонил и сказал, что вопрос мой с повесткой решён. Помолчав, добавил, что жизнь его с большой вероятностью скоро изменится, то есть «пойдёт на крутой вираж».

– Завели уголовное дело? – спросил я.

– Наоборот. Предложили легализоваться.

– Как это легализоваться? Незаконные вооружённые формирования обяжут встать на учёт в налоговую инспекцию?

– Не груби, Венгеров! Помог я тут одному серьёзному человеку. А человек этот поднялся. На самый верх поднялся. Теперь вот в знак благодарности он предложил мне поучаствовать в предстоящих выборах в Госдуму и, соответственно, в случае победы, которая, по его выражению, гарантирована на девяносто девять процентов, получить полную депутатскую неприкосновенность. Я, знаешь ли, подумал и согласился. При условии, конечно, что лучшие из моих ребят останутся у меня в помощниках.

– Ты действительно этого хочешь?

– А что тут такого? – на том конце провода слышался едкий смешок. – Мохов – депутат, для кого-то, конечно, звучит вызывающе. Но врать – это всё-таки лучше, чем убивать.

– А с прошлым как быть? Не выплывет?

– О будущем надо думать. Повестка твоя в пути. Удачи!

«Думать о будущем! – я улыбнулся. – Да это уже почти депутатская предвыборная программа!»

Сообщили, что подписано моё заявление. Трудовую книжку обещают отдать по окончании отгулов.

Исчезнуть, конечно, можно и по-английски, но мне захотелось проститься. Ведь целый год жизни провёл я на этом объекте. А год для любой биографии – страница, как ни крути, полноценная.

Жуя бутерброды, степенно кивают мне скифские бабы. Киваю и я. Но как величать их в отдельности, так и не знаю. И в этом, конечно, не прав. Ведь каждая баба, пусть даже скифская, всегда индивидуальность.

Горшков помахал мне из трактора. Машу ему тоже: «Удачи тебе, афганец!»

В конюшне в груди защемило. А всё из-за этой кобылы. Зафыркала и тёплыми своими губами ткнулась мне в щёку.

– На, угости шельму, – дядь Лёня достал из кармана сухарь.

– Всё-то она понимает, – погладил я закивавшую радостно лошадь и сунул ей в зубы лакомство.

– Ты это... ты только не думай... и зла не держи, – дядь Лёня мозолистыми клешнями сдал мою

руку. – И вот что я тебе ещё, парень, скажу: Сельга не самое худшее место, встречаются и похуже.

Подумав, добавил:

– А что не сложилось, дак, не всегда же должно и сложиться.

А филина нет. Пустует без друга-приятеля ветка. Но это и хорошо. Уставился бы своими печальными блюдцами, а мне подходящее слово искать.

– Счастливо, завтехник! – дед Подшумок кидает мой пропуск в стол. – Таперича на объект не пуцу. А ежели уж очень приспичит, лезай через дырку – знаешь где.

Не надо мне через дырку, дед. Но славно, пожалуй, что так и не разобрался я за этот год, чего в тебе больше – хорошего или дурного? И если уж прямо сказать, то все мы не ангелы.

Шагаю по дороге-дуге в деревню. Спешу попрощаться с её палисадами, с несуетными женщинами в фуфайках, с суровыми мужиками, с бревенчатыми двухэтажными срубами, которым уж лет за сто – давно уже почерневшими, но всё ещё крепкими и добротными.

А скоро уже и любимый мой сад зацветёт. И понесётся, закружит над Сельгой черёмуховый его аромат. И вновь полетят лепестки. И снегом весенним укроют они мураву. Как в прошлом году. Но только тогда на этой вот самой скамейке сидел совершенно другой человек.

Водолярская копается в огороде – дробит, разбивает лопатой комья. Увидев меня, повернулась спиной. Не хочет здороваться. Спецовка на ней всё с той же предостерегающей надписью: «Не влезай! Убьёт!» Шутница. Лет двадцать уже никто не влезал, а она беспокоится.

В доме напротив истошный визг.

Федя-конюх втащил на помост свинью и сунул ей в горло нож. Свинья верещит и косится на хлынувшую из раны кровь. Крови так много, что Федя на ней оскальзывается и падает. Выматерив свинью, он хватает её за передние копыта и пытается уложить на доски. Свинья упирается. Ничего не выходит. Тогда он берёт дубину и бьёт её по хребту. С молодецким гиком! Кровь из разверстой раны брызгает на помост и на перекошенное лицо Феди-конюха. «Лежать, падла!» – орёт он окровавленным ртом. Свинья хрипит. Через минуту она затихает, и Федя наконец разворачивает её так, как ему удобно. Широкое лезвие входит в живот и аккуратно ползёт между розовыми сосками.

Сдерживая приступы тошноты, бреду в городок. Вот и простился.

Кальянов позвонил из Петрозаводска:

– Привет! Я тоже рад тебе! Да! Вернулся. Да. Цел. Контузия. Лёгкая. Большие потери. Ага, федералы. Нас называют там федералами. Из нашего отряда одиннадцать человек – груз двести. А раненых, искалеченных сколько?! Ты даже не представляешь! Повестка? Ты что, ненормальный? Хочешь сыграть в лотерею? Зачем? Не советую. Война у каждого, конечно, своя. Но всё, что о ней известно, известно со слов тех, кто выжил. Неплохо бы спросить у погибших. Теперь, если кто-то за мной идёт, я ищу на боку пистолет. Двух наших офицеров застрелили подростки. В затылок. Совсем мальчишки. Спокойно подошли, и кто бы на них мог подумать?! Да. Много чего ещё было такого, о чём не хочется говорить. И всё это

теперь мне снится! Каждую ночь. Не отпускает, понимаешь?

– Понимаю, старик! Ты не поверишь, но это как раз то, что мне нужно! Хочу поменять сны.

– Жизнь человека определяется опытом или глупостью. – Похоже, Андрюха на этой войне превратился в философа. – Понятно... понятно, что ты уже рогом упёрся. Решил, так езжай!

Я что-то ещё хотел у него спросить, но в трубке заклокотало, забулькало, и связь прервалась.

Олеська, оторвавшись от шитья, подняла глаза:

– Бежишь? От себя? Ха-ха! Неужели считаешь, что это возможно?

– Думаю, да.

– Смешно. А я наконец поняла, почему у нас не сложилось. Ты был непонятен мне. Да, всегда непонятен! И, значит, неинтересен.

– Ну что ты несёшь? Непонятен не значит неинтересен. Скорее, наоборот! – попытался я возразить.

Отмахнувшись, она продолжила:

– С первого дня, как знаю тебя, ты мнил себя сверхчеловеком и всегда относился ко мне, как к чему-то второстепенному, а иногда и просто, как к сексуальной рабыне. Именно поэтому мне всё время хотелось тебе отомстить.

– Отомстить? Так это была месть? И даже в общаге, когда мы ещё просто встречались? Тогда уж скажу тебе всё, как есть. Увы, я оказался не лучше, чем ты. В чём? Не смейся! Не надо смеяться. Сейчас объясню. Ты без разрешения читала мои дневниковые записи. Я тоже кое-что сделал без твоего разрешения. Но так как ты не вела днев-

ник, то мне пришлось напрямую покопаться в твоей голове. Вот именно, с помощью гипноза. Ты всё рассказала сама. Конечно, про всех. Я даже не стану перечислять их. По той лишь причине, что список этот будет утомительней списка гомеровских кораблей. Признаюсь, я долго не мог понять, почему так случилось. Вернее, случалось. Ведь все они, эти самцы, не лучше меня. Теперь понимаю. От мужского напора ты неизменно впадаешь в ступор. Так называемый ступор желания. Но это по Фрейдю. А если перевести на простой народный язык – на передок слабая.

– Гипнотизёр-самоучка! Ненавижу тебя! – Олеська покрылась бордовыми пятнами и отшвырнула шитьё. – Ты... ты воплощённое самолюбование – ах, посмотрите, какой я умный, какой начитанный! Скорей бы уже уехал! А в том, что распалась наша семья, ты виноват не меньше, чем я. Да-да! И не вытягивай так лицо! Со мною рядом должен быть другой мужчина. Такой, как Жебривский! Которого бы я боялась. А ты!.. Ты всегда был сам по себе!

– Такой, как Жебривский? Ха-ха! Не очень-то мне хотелось об этом тебе сообщать, но, раз уж сегодня день откровений, то слушай! Я был у него в ту ночь. Да! Был! Я сказал ему одну только фразу. Всего одну. Мы от души посмеялись, и я ушёл.

– Ты специально... специально мне делаешь больно! Зачем? Над чем вы смеялись? Какая фраза?

– Теперь уж не важно.

– Мне так нужна была его любовь... – в глазах у неё задрожали слёзы.

«Любовь? Непременно любовь! Любую подлость легко оправдать любовью...»

С клокочущим сердцем я вышел во двор.

«Кто я? Во что превратился?.. Стоп! Неверное слово. Здесь нужно другое! – позволил себя превратить. Но я не безвольная тряпка, и дальше уже невозможно так! Я – сжатая пружина. Фантом. Я весь состою из ненависти!»

В библиотеке за шторами свет. Сколько вечеров я смотрел в эти окна, не решаясь зайти.

«Господи, не часто прошу Тебя! Сделай же так, чтобы Нина была одна!»

– И чем это мы заслужили такой визит? – тёмная бровь её слегка приподнялась, и я поразился – в который уж раз! – красоте этой женщины.

– Нина... я скоро... совсем уже скоро уеду. И, собственно, я попрощаться.

– Прощай! – взглянула с прищуром. – Прощай, и спасибо тебе.

– За что?

– За то, что наконец уезжаешь! За то, что никогда не увидишь, как я старею. Серёженька, милый Серёжа... мы всё понимаем, и нам объясняться не надо. Пусть всё остаётся, как есть. Ведь ты уезжаешь немного в меня влюблённым. С меня же довольно того, что я буду об этом знать. Для женщины – это важно. Знать, что она любима. По-настоящему, понимаешь?!

– Не понимаю, – я повернул на два оборота ключ, затем подошёл к ней вплотную и обнял. – По-настоящему – это как?

– Пусти! – голос её завибрировал. – Слышишь! Немедленно отпусти! Да как же!.. Да что же это

такое? Что ты себе позволяешь, Сергей? Ты... ты бессовестный... оказывается.

Через голову я стащил её узкое платье и на удивление быстро справился с лифчиком, зашвырнув его тут же за книжный шкаф. Потом мы боролись у выключателя. Мне непременно хотелось увидеть её обнажённой. Сопротивление было отчаянным, вплоть до укусов, сначала в одно, потом и в другое плечо.

– Мне больно, Серёжа, – сказала она наконец помутневшим голосом.

Выключатель щёлкнул, и в воцарившейся темноте мы провалились в безумие. Я гладил её упругие бёдра. Она отзывалась короткими тихими стонами и говорила что-то бессвязное. Я не пытался понять. Я занят был тем, что целовал её грудь и тёплый подрагивающий живот. Она не перечила... нет... совсем не перечила. И, может быть, мне это только казалось, но вся она пахла прогретым на солнце яблоком. А дальше случилось то, что невозможно было предугадать – она закричала так громко, что в городке завыли собаки. Я тоже решил не сдерживаться. И тоже стонал, и бился в её объятиях, как раненый зверь, но позже, конечно, когда уже не было сил ни на что другое.

– Какие плохие собаки!

– И глупые... ужасно глупые.

– Весь городок переполошили.

Мы задыхались от смеха, прижавшись друг к другу на сдвинутых к печке столах.

– Серёжа, мой милый... – она приподнялась на локте, и я залюбовался неволью её безупречным лицом, – ну почему... почему ты не был раньше

так настойчив? Ведь женщины любят настойчивых. Ты разве не знал?

– Не знал, – соврал я. – И я бы, наверно, не смог...

– Не смог бы? Но почему?

– Не знаю, как объяснить. Сейчас я и сам пытаюсь себя понять. Ведь ты для меня была не только женщиной. И женщиной, конечно, тоже... но ты... ты больше, чем просто женщина. Ты – мой хрустальный образ.

– Ну что ты, Серёжа! Мне лестно, конечно. Но больше, чем женщиной, быть невозможно. А знаешь, кто ты? Не думала даже, что такое падение в пропасть животной страсти когда-нибудь со мной случится. Но это случилось лишь потому, что ты... что взгляд твой за все эти годы не потускнел. И, знаешь... ты только не думай, что я непременно сейчас совру... ты стал мне родным. Володя, конечно, тоже... Володя, он очень хороший. И, видимо, совсем уже скоро он бросит пить. И этот заказ из Кижей... осталось чуть-чуть... совершенно чуть-чуть...

– Не надо, Нина! Прошу тебя! – голос мой прозвучал неожиданно резко. – Неужели нам больше не о чем говорить. Ведь этот Володя твой... он мне совершенно неинтересен.

Оттолкнув меня, она подскочила чуть не под потолок и резкими движениями начала одеваться:

– Я всё поняла! Наконец-то! Ты просто подлец! – платье не поддавалось и комкалось, руки её дрожали. – Самый что ни на есть негодяй! Воспользовался тем, что муж мой давно уже не мужчина! Ты ведь догадывался об этом, и что?.. Считаешь, что можешь теперь надо мной смеяться?

– Смеяться? Ну, что ты, Нина? Зачем смеяться? И в мыслях не было! – я попытался её обнять.

Отпрянув, она забарабанила мне в грудь кулаками. При этом раза два или три попала в лицо. Пришлось её оттолкнуть.

– Без крови картина была бы неполной, – одевшись, я вынул из брюк носовой платок и промокнул им разбитые губы.

– То, что произошло сегодня... стало возможным лишь потому, что ты уезжаешь! – отыскала за шкафом лифчик и сунула в сумку. – Иначе бы никогда! Слышишь?! Никогда! И не думай, что мне хоть капельку тебя жаль! Ты сам виноват! А Володя... он очень хороший... он добрый.

– Алкоголики редко бывают злыми.

– О, как ты циничен! Молчи! Он почти не пьёт. И, значит, у нас ещё всё наладится!

– Конечно, конечно... если почти не пьёт, непременно наладится.

– Ха-ха! – Она рассмеялась отчуждённо и сухо. – Уезжай! Уезжай скорее! Будь счастлив и знай, что ты мне не нужен. Никто мне, кроме мужа, не нужен!

На выходе я кулаком ударил по выключателю. Свет хлестанул по глазам. Не знаю, зачем я так сделал? Возможно, хотел рассмотреть её и запомнить. Такую, как есть! Красивую. В помятом, намянутом наизнанку платье.

«Случилось то, что случилось, – размышлял я, шагая по дороге-дуге к деревне, – и по-другому уже не будет. И пусть нас толкнуло навстречу друг другу отчаяние. Но разве отчаянье не бывает сильней любви? И почему эта жизнь устроена так,

что наши желания – особенно самые сокровенные! – сбываются лишь тогда, когда они уже перестают ими быть?»

В деревне кое-где светились оконца и пахло прогорклым дымом.

Над головой застыла холодная звёздная бездна. Из звёзд я с уверенностью могу находить лишь одну – Полярную. Наверно, потому что там Север. И там, за Полярным кругом, живёт моя мама – единственный, как оказалось, по-настоящему мне родной человек. Отца ведь давно уже нет.

У магазина споткнулся о нечто бесформенное.

– Не бейте! Не смейте меня бить! – заворочалось «нечто». – Поднимите лучше. Ну, поднимите же!

– Володя, ты?

– А-а... здарсьте вам!.. я думал, деревенские это... а-алкашня подзаборная... а это, стало быть, наши... интеллигенция, – последовал едкий смешок.

«Странно он как-то почти не пьёт», – я оторвал от земли обмякшее тело и попытался придать ему вертикальное положение. Получилось не сразу, так как ноги его подгибались в коленях, как на шарнирах.

– Я знаю, ты любишь Нинку, – погрозил мне скрюченным пальцем Володя, когда, наконец, мы смогли продвигаться в сторону городка. – И молодец! И правильно делаешь! Она красивая, и её не любить нельзя. – Прежде он всегда обращался ко мне «на вы», но, видимо, с этой минуты – а шли мы почти в обнимку – он, верно, решил, что мы уже выпили не брудершафт. – Но ты не один

молодец. Я, знаешь ли, тоже! И это, кстати, актуально! Догадайся почему? Не знаешь? Так вот! Я молодец, потому что, спасая меня от алкоголизма, жена моя наполняет жизнь хоть каким-то смыслом. А смысл в этой дыре – я говорю про смысл ежедневного существования! – это, поверь мне, не так уж мало. Веришь? Вижу, что веришь.

Он помолчал и, внимательно заглянув мне в глаза, добавил:

– У нас, между прочим, с Ниной был ребёнок. Актуально был. И какой, ты думаешь, это был ребёнок?

Я не ответил. Он рассмеялся:

– Правильно! Мёртвый! У нас был мёртвый ребёнок.

Когда мы поднялись в квартиру, Володя попросил меня подождать и, что-то бормоча себе под нос, удалился на кухню.

Кремового плаща на вешалке я не заметил, из чего заключил, что Нина ещё не вернулась из библиотеки.

«Не надо нам больше встречаться. Довольно! – пустился я в размышления. – К чему эта безупречная красота, если человек, для которого она предназначена, считает её своим наказанием. Мне же она нужна вся! Или совсем не нужна!»

Взгляд мой невольно упал на сваленные в углу плашки. Это, без сомнения, был мой можжевельник. Выходит, Володя ни дня ещё с ним не работал. И, может быть, хуже того – все разговоры Нины про поступивший из Кижей заказ – враньё?

– Вот! – со свёртком в руках вернулся хозяин. – За то, что не бросил меня... за то, что, как раненого бойца, дотащил!

– Что это?

– Так... благодарность. Зашёл тут на днях к Обнимакину сигарету стрелкнуть, а он у него на шкафу, представляешь? Ну, я и забрал. Мой, говорю! Тот поупрямился для порядку, но в конечном итоге отдал. А Нинка, как увидела, что я принёс... ха-ха!.. да как закричит – чтоб духу его тут не было! А у меня, понимаешь ли, рука уже не поднимется выкинуть. А подарить, так запросто. Плохого в том ничего не вижу. Держи, говорю! От чистого сердца...

Он сунул мне в руки свёрток и, рассмеявшись, зашёлся в тяжёлом кашле.

Оставив его, я спустился во двор. И там уже, возле беседки, под жёлтым качающимся фонарём (когда этот ветер успел подняться?) развернул газету. Блеснули глаза... Чёрт! Тот самый, конечно.

– Ла-ла-ла... – пропела Олеська, едва я зашёл домой.

Совсем помешалась на сексе. У нас, говорит, последние денёчки, почему бы и нет?

Телефон зазвонил в семь.

– Трудовую твою мне вчера не отдали, – сообщил Дулепов. – Сказали, чтобы ты появился сам и расписался в какой-то ведомости и в приказе на увольнение. Заодно и расчёт получишь.

– Я тоже в город поеду. И в Пряжу потом, к родителям, – заявила Олеська, бессовестно перед зеркалом задирая сорочку (я вспомнил про хвост и прикрыл глаза – а вдруг как опять вывалится?). – Хорошенькая я, правда? Ла-ла-ла...

Опять «ла-ла-ла...» Похотливое «ла-ла-ла...» Не хватило ей ночи. Но что же так сердце щемит? Говорят, самураи не знают, с какой стороны у них

сердце. Досадно, что никогда уже не родиться мне самураем.

Пока ожидали автобус, подошла почтальонка:

– Вам два письма. За заказное вот здесь вот поставьте подпись, – протянула бумагу.

Расписался и сразу же распечатал. Так я и думал – повестка. «Сбор у военкомата такого-то. То есть завтра. При себе иметь...» и так далее. Значит, завтра... и хорошо, что завтра... Я тупо уставился на второй конверт с незнакомым округлым почерком. «От кого это, интересно?» Решив, что удобней читать будет вечером, сунул в карман нераскрытым.

В автобусе сели с Олеськой рядом. Радиотростковские понимающе закивали и зашушукались. «Улыбайтесь и радуйтесь сколько угодно, люди!» – я тоже им всем улыбнулся. С переднего сидения озорно подмигнула Дулепова Людка. «Океан тебе счастья, Людка! Славно умеешь подмигивать!»

При въезде в Петрозаводск в лобовое стекло ударили первые тяжкие капли. И тут же, будто небо разверзлось, стеною поплыл за окном непроглядный дождь.

У автовокзала Олеська приготовилась выходить:

– Больше не увидимся? – посмотрела растерянно и насмешливо одновременно.

Я молча кивнул.

– Знаешь, а ведь я никогда тебя не любила, и только...

Окончания фразы я не расслышал. Двери автобуса со скрипом открылись, и Олеська, шагнув со ступеньки, исчезла под ливнем.

«Вот и всё... – я улыбнулся спокойным безрадостным мыслям. – А не любила, так что же... Беда небольшая. Нам выпали общая юность и общая молодость... время ошибок...»

Получив окончательный расчёт и сунув в карман трудовую книжку, я двинулся было к выходу. Но тут в проёме обитой дерматином двери появился характерный, просящийся на монету профиль.

– Вы ведь Венгеров?

Удовлетворившись моим кивком, профиль посторонился и пригласил:

– Зайдите, пожалуйста.

До этого дня мы с Гирингом никогда не общались лично, и я, если честно, не был уверен, что он вообще отличает меня от массы других работников.

– Вы наш зоотехник, ведь так?

– Да. Но только теперь уже бывший.

– В данный момент – не принципиально, – на столе появились коньяк, шоколад и рюмки. – Не возражаете?

– Ну, если каждого зоотехника вы так проводите... – я несколько стушевался.

– Не каждого, – Гиринг не принял шутку и с серьёзным видом разлил по рюмкам коньяк. – Далёко не каждого. Но о вас в степенях превосходных отзывался уважаемый мною специалист и до сегодняшнего дня непосредственный ваш начальник – Алексей Дулепов. И, кстати, он рекомендовал мне вас как человека неординарно мыслящего.

Услышав такое, я начал сползать в рефлексиию: «Ну как же я мог? Ведь я-то его к нехорошим лю-

дям уже причислил, а он обо мне вот так! – в степенях превосходных...»

– Вот мы и проверим, насколько неординарно вы мыслите, – подвинул мне рюмку Гиринг. Свою он уже осушил и опять наполнил. – А то, что уволитесь, правильно сделали. Подсобному нашему хозяйству, к сожалению, приходит конец. Содержать совершенно не на что. – Не дожидаясь меня, он опять выпил. – Повсюду бандиты! Там, где хоть какая-то малейшая прибыль нарисовалась, там сразу они! Нет! В этой стране оставаться нельзя! А? Как вы считаете?

Я пригубил коньяк и сказал, что, пожалуй, останусь.

– Напрасно! – он снова налил и выпил. – Вы слишком категоричны. Нам выпало время выбора и надо решаться. Не знаю, на что, но хотя бы попробую объяснить почему. Вот прямо сейчас и попробую... – похоже, его основательно повело. – И вы меня, надеюсь, поймёте. Так вот! У нас на участке случилось «чепе» – украли две бухты кабеля! Их общая стоимость свыше миллиона рублей! Что делать? Работа встала. Поехал к начальнику райотдела. Он, между прочим, мой давний приятель. Полковник. Внимательно выслушал. Набрал кого-то по громкой связи и в общих чертах обрисовал мою ситуацию. Там отвечают, мол, успокойте товарища, за сутки всё порешаем. Цена вопроса – полсуммы ущерба. Я спрашиваю, кому это ты звонил. Смеётся. Думал, ты догадливей, говорит. Тут уже я при нём размышляю вслух – полсуммы, это что получается? Это полмиллиона я должен буду им отвалить? Он улыбается и пожимает плечами, мол, что тут такого странного,

обычная такса. А если, спрашиваю, официальным путём пойти? Если официальным, говорит, то оставляй заявление. Будем расследовать. Но ты же понимаешь – две бухты. Грузили, конечно, краном. Вывозили на машине. Значит, серьёзные люди. А если серьёзные, то сыщики мои едва ли к ним сунутся. Я, говорит, вообще-то, хотел как лучше. Представляете, как лучше хотел?! И это мне начальник милиции говорит! Боже ты мой! Бежать! Бежать из этой страны без оглядки. В Израиль! В Штаты! Куда угодно! Ведь тут, если не убьют, то по миру пустят! А я ведь так радовался, когда разрушали Союз. Стыдно теперь признаться, но перед телевизором даже в ладоши хлопал.

Гиринг умолк и, подперев кулаком подбородок, недоумённо уставился на опустевшую коньячную тару. Стараясь не шуметь, я поднялся и вышел.

– Ну как он? – секретарша в приёмной поймала меня за рукав.

– Устал! Очень устал.

– Господи! Боже ты мой! Третий уж день устает! А завтра у нас финны. Делегация из Хельсинки, – она округлила большие, выразительно накрашенные глаза.

– Да не переживайте вы так, – попытался я её подбодрить. – У финнов сухой закон, и в России они устают не хуже, чем мы.

В чемодане у меня чёрт.

Не выбросил и не сжёг. А всё потому, что не верю я в эту мистику.

И в бессмертие души не верю. Я знаю, что там, за чертою жизни – ничто! Но это ничто не хуже и не лучше всего остального.

А вечная жизнь? Достаточно вдуматься в слово – вечная! Звучит как насмешка.

Завтра в девять ноль-ноль построение в Прионежском военкомате. Осталось собрать вещички. Ну и, конечно, разжечь и как следует протопить титан. Помыться в дороге – первое дело. Дневник, тетрадь со стихами и письма – всё в топку. Никто уж теперь не прочтёт и не посмеётся.

Стоп! Письмо! Ведь я же совсем забыл про утреннее письмо с аккуратным округлым почерком. В кармане оно немного помялось.

Здравствуй, Серёжа!

Извини, что «на ты». Я мысленно всегда к тебе так обращаюсь.

В феврале умерла моя мама. Долго болела, и вот... Теперь я совсем одна. Если не считать, что в Америке объявилась у меня тётка. Двоюродная сестра отца. Кто-то написал ей после похорон, и она сама меня отыскала.

Зачем я пишу тебе? Точного ответа у меня нет. Наверно, потому, что ты разбудил во мне женщину, как только тебя увидела. Мне всё в тебе нравится – и взгляд, и походка, и голос. А ещё, когда ты улыбаешься или смеёшься. Мне нравятся твои руки. У тебя удивительно красивые руки. А губы... нет, продолжать об этом не буду, иначе мне опять станет плохо.

Каждый день, каждый час моей жизни ты в моих мыслях. Ты всегда над этим смеялся. Ты думал, что этому есть другое название. Но этому другого названия нет.

В городе я похудела. И ноги теперь у меня даже очень стройными стали. Моренко постоянно

твердит мне, что я расцвела и похорошела. Надеюсь, не врёт. Стриптиз она уже не танцует. Не разрешает жених. Известный в городе бизнесмен. Он бритый и похож на бандита. Бизнесменов и бандитов я постоянно путаю. Недавно подарил ей кольцо с брильянтом. Но я за неё боюсь. Мне кажется, она и сама боится.

В деревне секретов нет, и я уже знаю, что ты разведён.

Ты только, пожалуйста, не думай, что я уж совсем такая простушка. В школе я училась почти на «отлично». Особенно хорошо успевала по физике и математике. Думаю, что если бы мне начать вечерами готовиться, то в следующем году я могла бы попробовать свои силы – поступить в универ или в пединститут на физмат. Но это если ты захочешь, конечно. А если не захочешь, я просто могу быть рядом. Поверь мне! Я разделю с тобой боль и радость, я дам тебе всё, что только способна дать женщина.

Ниже мой адрес. Я буду ждать. Каждый день буду ждать твоего письма. Но лучше, если бы ты сам приехал. В ресторане я работаю по нечётным дням. Тогда мы смогли бы друг другу сказать о многом. И всё объяснить.

Твоя Н.

P.S. Тётка зовёт меня к себе. В Арканзасе у неё ферма. И, судя по всему, она хорошо там устроилась.

Ну что эта девчонка вообразила? Чему это нет у неё другого названия? Пусть едет в свою Америку. Ковбои, романтика, ферма! Что нужно ещё молодой девице?

«Гуд бай, Америка! О-о!.. – напевал я, стоя под душем. – Где не буду никогда... Услышь мою песню...» Получалось душевно. Особенно это «о-о!..»

Помывшись и обернувшись полотенцем, я вышел из ванной и обомлел.

– Извини, у тебя не закрыто было. Я чайник поставил. Попью чайку. Вот, посмотри, красота какая! – Дулепов развернул перед моим носом кулёк с домашними, тёплыми ещё пирожками и застенчиво улыбнулся. – Людмила в дорогу тебе испекла.

Я молча смотрел на него. Не из принципа молча. Просто не знал, что сказать. Он выключил закипающий чайник и наполнил с готовой заваркой чашки:

– Когда уезжаешь?

– Утром.

– Действительно на войну?

– Не хочу это обсуждать.

Ну откуда ему известно? Ни с кем в городке, а в деревне тем более я не делился своими планами.

– Я, знаешь ли... вот что хотел спросить, – Дулепов, обжёгшись горячим напитком, поморщился. – В ту ночь я почти не спал и кое-что видел.

– В которую ночь?

– В ту самую, когда это случилось с Жебровским. Так вот! Я видел, как кто-то к нему заходил. И даже не кто-то. Мне показалось, что ты. Но самое непонятное было дальше! Я просидел у окна ещё целый час, но обратно из кочегарки никто не вышел.

Я округлил глаза:

– Неужели никто? А, случаем, в туалет ты не отлучался?

– Нет. Никуда я не отлучался!

– И ты уверен на сто процентов, что это был я?

– Но... если не ты, то кто? – он густо покраснел и заворочал глазами.

– Тень отца Гамлета. Кто же ещё? – я рассмеялся и встал, давая понять, что чаепитие окончено.

– Фантом... так и есть... получается, это был фантом, – сказал он задумчиво, – мысль материальна... я всегда говорил...

Прощаясь, мы пожали друг другу руки. Я с грустью проводил его взглядом, пока он не скрылся в подъезде напротив. Не то чтобы я очень уж сожалел о том, что закончилась наша дружба. Нет. Я просто не мог понять, как мог этот одарённый, начитанный, мыслящий парень позволить себе превратиться в обычную «шляпу».

У мойки знакомый шорох. Ну да! Ну конечно же, самое время ей появиться. Через минуту мы вместе ужинали. Я – людкиными пирожками. Она с удовольствием откусывала от сдобной, посыпанной сахарной пудрой булки.

Почему эта крыса появлялась тогда лишь, когда уезжала Олеська? Ответа на этот вопрос у меня нет. Есть вещи необъяснимые.

Россия, Русь!
Храни себя, храни!
Н. Рубцов

О Русь терпеливая,
Свет мой, Россия,
Немало ты видела
Горя и слёз.
Немало хранят в себе тайн
Вековые
Рубцы на бинтах
Сердобольных берёз.

Как знать, не с того ли,
Скорбя об утратах,
Плакучие ивы
По-вдовьи грустны,
Что две похоронки
В селе на три хаты
С фронтов приходили
Кровавой войны.

Шагая во ржи
Полевою тропую
И глядя в простор твой
Загадочный, Русь,
Я кланяюсь ниве
Седой головою
И сердцем внимаю
Священную грусть.



**СЕРГЕЙ
РЫБАЛКО**

Поэзия



Кавказ

На горизонте горы, громоздясь,
Вздымаются, слепительны и льдисты.
Сюда, под пули горцев, на Кавказ,
Везли в кибитках ссыльных декабристов.

Их имена ущелья разнесли
Своим неповторимым звонким эхом.
Здесь Пушкина дороги привели
К вершинам ранней славы и успеха.

Столетье шла кавказская война,
И Лермонтов – неистовый поручик,
Стремительно пришпорив скакуна,
Промчался здесь, ведя отряд летучий...

От полевых ромашек и берёз,
Кружащийся в миру, как лист осенний,
Тебе, Кавказ, любовь свою принёс
С персидскими мотивами Есенин.

Встречая славы раннюю звезду
И мудрость лет в чеканный стих впечатав,
Тебя воспел другой властитель дум
И Дагестана сын – Расул Гамзатов.

Не потому ли горы манят нас
Своей мечтой крылатой и высокой,
Что очищаешь душу ты, Кавказ,
Как древний храм – святилище Востока?

Встреча с Лермонтовым

Какая осень нынче в Пятигорске,
Как ярки клёны в золоте своём!
В заветный Домик
к Лермонтову в гости
Мы по ступеням каменным идём.

Вдали, за лёгкой дымкою тумана,
Горя снегами в синей вышине,
Встаёт Эльбрус былинным великаном,
Левей – Казбек, как всадник на коне.

А рядом, здесь, за шапками каштанов,
Под Машуком белеют корпуса.
И в бурке горца царственный Бештау
Собою подпирает небеса.

Осенний день купает в солнце листья.
И современник, видевший певца,
Старинный клён листвою золотистой
Встречает нас у низкого крыльца.

И кажется, хоть в это трудно верить,
Что вот сейчас, не опуская глаз,
Сам Лермонтов откроет настежь двери
И руку всем по-дружески подаст...

Материнские руки

В дни обид, огорчений, разлуки,
В дни болезни, когда тяжело,
Вспоминаю я мамины руки,
Мне дарившие ласку, тепло...

Вспоминаю их в пышной и снежной
Мыльной пене, муке и стряпне...
Эти руки так трепетно-нежно
В детстве гладили волосы мне.

В этих тоненьких бледных прожилках
Вижу линии строгой судьбы,
Где и отсвет снарядной коптилки,
И надрыв орудийной пальбы.

Запах прелой соломы и йода
От бинтов и повязок солдат...
Запах грубой, не женской работы
Со слезами потерь и утрат.

А когда мир, оглохший от схватки,
Вдруг рассыпал салюты в Москве,
Эти руки взялись за тетрадки,
Мел крошили на классной доске.

Как светлы эти мамины руки
В синих жилках, в морщинках сухих.
Но я верю: растущие внуки
С благодарностью вспомнят о них.

Любовь у каждого своя

Любовь у каждого своя.
Подобно силе притяженья,
Она приводит мир в движение,
Она – основа бытия.

Любовь у каждого своя.
Она – костёр, души горенье.
Она – то взлёт, а то паденье
Мучительного забвения.

Любовь у каждого своя.
Не потому ли я влюбляюсь,
Живу, дышу и, грешный, каюсь,
И пью любви то мёд, то яд.

Любовь изменчива, друзья.
Порой лукаво щурит очи,
Поманит вдруг и захохочет,
И вдруг ужалит, как змея.

Любовь у каждого своя.
Она трудна, не без причины
Бросает женщину мужчина
Ту, что когда-то звал «моя».

Любовь у каждого своя.
Пусть нелегка и пусть мгновенна,
Но всё ж она благословенна,
Как жизнь, как тайна бытия.

Воруют годы красоту
И оставляют нам морщины.
Но хороша ты, как рябина,
Что за окном растёт в саду.

Тебя я помню молодой,
Цветущей, нежной и любимой.
Но и сейчас ты, как рябина,
Осенней радуешь красотой.

Наша жизнь – как горная река:
Мчит вначале шумно по ущелью,
Рвётся из глухих теснин и скал,
Предаваясь буйному веселью.

Но с течением быстрых лет и дней,
Вырвавшись, как пленник на свободу,
К устью всё спокойней и ровней
Катит свои медленные воды.

ЛЕГЕНДЫ

СТАВРОПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СКУЛЬПТОР ПЕРЕТЯТЬКО

Моя встреча со скульптором, членом Союза художников России Федором Ивановичем Перетяттько (1920–2007) состоялась в 2005 году, накануне его 85-летия. Федор Иванович уже довольно долгое время жил в Ставрополе, в небольшой квартире двухэтажного дома по Ленинградскому проезду, спрятавшемуся от уличной суеты и шума в жилых кварталах нижней части города. Неподалеку находилась мастерская скульптора.

Федор Иванович посчитал, что мастерская – самое подходящее место для беседы, здесь привычная для него обстановка, тем более, что планировалось провести фотосессию с нашим героем. Для такого случая он захватил из дома свою черную «рембрандтовскую» шляпу с широкими полями.

В Ставрополе в творческой среде Федора Ивановича негласно называли «графом». И он старался соответствовать:



ТАТЬЯНА
БЛОХИНА

в прохладную позднюю осень, когда ветер бросал под ноги охапки золотой листвы, «в свет» он выходил в своем неизменном длинном кожаном пальто, в другое время надевал черный бархатный клубный пиджак, который отлично сидел на его высокой стройной фигуре. Таким он представлялся на фотографиях своей недавней бурной творческой поры. Но гораздо другим виделся в более привычной ему будничной рабочей атмосфере – в мастерской, где приходилось иметь дело с глиной и бетоном, резцом и молотком. Следовательно, «рембрандтовская» шляпа, прихваченная для фотосессии, вносила в творческий беспорядок мастерской особый штрих, намекая на царившую здесь атмосферу вдохновения, без которой художник не мог творить и размышлять над образами своих героев.

Этот настрой скульптор сохранял, несмотря на свой солидный возраст.

Тогда Федор Иванович поделился планами: он мечтал создать портрет великого преобразователя Кавказа – прославленного героя Отечественной войны 1812 года и главнокомандующего на Кавказе в 1816–1827 годах генерала от инфантерии Алексея Петровича Ермолова. Толчком к созданию такого сложного образа, несомненно, послужило несколько важных событий в Ставрополе, связанных с именем выдающегося деятеля Кавказа. В 1998 году в исторической части города, на восточной оконечности зеленого бульвара, являющегося украшением проспекта К. Маркса, была торжественно открыта «Ермоловская площадка». На ней восстановлена Триумфальная арка «Тифлиссские ворота», она появилась здесь в

1842 году, в честь тридцатилетия победы России в Отечественной войне над Наполеоном. И чуть поодаль, на подходе к Триумфальной арке, памятник – бюст А.П. Ермолова. Все в великолепном зеленом обрамлении, выполненном со вкусом, пониманием времени и места.

Символы площадки отсылают к героическому прошлому: победе наших предков и деяниям великого преобразователя на Кавказе генерала А.П. Ермолова. По его инициативе Ставрополь не только получил статус столицы Кавказской области, но и военного центра всей Кавказской оборонительной линии между Каспийским и Черным морями. Это стало поворотным в судьбе Ставрополя, столичный статус крупного региона на Северном Кавказе город сохраняет до сих пор, за время своего существования не только не потерял, но и приумножил свои административные функции. Решением Ставропольской городской Думы от 31 марта 1999 года зеленой зоне на проспекте К. Маркса присвоено название «Бульвар имени генерала А.П. Ермолова». Отныне среди горожан за бульваром закрепилось название Ермоловского.

Ставрополь и в целом Кавказ многим обязаны Ермолову, могучая энергия военного и государственного деятеля помогла в короткие сроки на новых административных основаниях преобразовать юг России, сообщить его развитию подобающую динамичность, заложить прочные заделы для дальнейшего процветания на долгие годы вперед.

Федор Иванович считал, что роль генерала Ермолова в преобразовании Кавказа еще не-

достаточно оценена потомками. Масштаб этой личности в своем будущем памятнике он мечтал связать с темой горного орла, который свободно парит над вершинами и которому с высоты подвластен весь Кавказ – с главной грядой от моря до моря, обширными пространствами по обе стороны Кавказского хребта. Герой его произведения предвидел мирный край, населенный разными народами, где сама природа дала ему все для благополучия и процветания. Цветущие края в долинах мирных...

Федор Иванович показал эскиз к будущему памятнику – с «крыльями» за спиной у центральной фигуры, пояснив, что в этом образе, помимо портретного сходства, должно быть богатое внутреннее наполнение, подкрепленное динамикой движения.

Пока идут поиски более точного прочтения образа. Скульптор «перелопатил» немало печатных источников, изучал «окружение» Ермолова, тех, кто был союзником генерала в его преобразованиях. А здесь – представители самых высоких властных кругов Российской Империи и личная поддержка императора Александра I. Так счастливо «сходились звезды» над Кавказом...

Было понятно, что сложный и масштабный образ военного и административного деятеля Кавказа первой половины XIX века скульптору давался нелегко, несмотря на весь его многолетний опыт и мастерство монументалиста. Впрочем, у него, как всякого настоящего художника, легких путей не бывало.

В мастерской Федор Иванович прежде всего обратил внимание на свою монументальную ра-

боту, названную им «Плачущий Бетховен». Он по праву считал ее выдающейся в своем творчестве, полагал, что ему, как никогда, удалось передать сложную гамму душевных переживаний гениального австрийского композитора и пианиста. Действительно, укрупненные детали портрета, да и сами внушительные размеры бюста были, казалось, созвучны монументальной Девятой симфонии композитора, которая до сих пор будоражит, и будет вечно будоражить и восхищать слушателей разных стран и народов.

Тогда одной из целей нашей встречи было составить к юбилею скульптора по возможности более полный список его наиболее значимых работ для небольшой брошюры, готовящейся к юбилейной выставке в выставочном зале Союза художников России в Ставрополе. Федор Иванович назвал их примерную цифру – более двухсот. Многие находятся в курортных городах Кавказских Минеральных Вод, в Ставрополе и других городах края, некоторые приобретались Художественным фондом СССР, оказались в Москве и за рубежом.

Сведения восстанавливали по сохранившимся записям и фотографиям, что-то – по памяти. Как творческий человек, строгого учета своих работ Федор Иванович не вел. Но самые крупные и значимые, по-моему, нам удалось учесть.

В составленном перечне имеются работы, которые, в соответствии с решением исполкома Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 1 октября 1981 г. № 702, имеют статус памятников искусства регионального значения: памятник-бюст выдающемуся осетинскому поэту

Коста Хетагурову (1959 г., бульвар им. генерала А.П. Ермолова), бюст Героя Советского Союза Л.И. Севрюкова (1965 г., Ставрополь, школа № 3).

Юбилейная брошюра небольшим тиражом с фотографиями некоторых работ скульптора вышла в 2005 году.

Из биографии

...Федор Иванович Перетятько родился почти в самом начале двадцатого века, в 1920 году, в украинском селе Бодаква на Полтавщине, в многодетной крестьянской семье. Когда мальчику исполнилось шесть лет, умерла мать. А еще через шесть лет семьи Перетятько не стало. В тридцать втором, во время коллективизации, его отец – крепкий хозяин-средняк, не желавший вступать в колхоз, разорился в одночасье: подворье Перетятько обложили непомерными налогами. Недомимки нарастали с каждым днем. Сначала за них свели со двора корову, затем мелкую живность, потом забрали вещи и одежду, а вскоре семью и вовсе выставили из дома. Раскулачили... В тридцать третьем отец, не пережив такого разорения, заболел и вскоре умер.

Для подростка настало горькое время скитаний. Почти год он «каруселил» вокруг строящихся сахарных заводов в Лохвицах. Бродяжничал и попрошайничал, ездил «зайцем» в рабочих поездах, на какое-то время находил приют у сердобольных людей.

Однажды холодным осенним вечером, когда совсем некуда было идти, решил переночевать на родном подворье. Пробрался в один из сараев,

растопил соломой печь и начал жарить найденные кукурузные початки. Рано утром, прихватив самого большого кролика, двинулся на полустанок. Свое приобретение продал за три рубля. На еду хватило...

Скитания закончились, когда попал в очередную облаву на беспризорников. Привели подростка в Лохвицкую тюрьму, как несовершеннолетнего определили в детский дом.

Вспоминая об этих годах, Федор Иванович размышлял, как бы сложилась его дальнейшая судьба, не попади он в детский дом. Возможно, пошел бы «по скользкой дорожке», которая в те годы многих подростков-беспризорников завела в тупик. Но судьба уберегла...

В детском доме в Лохвицах Федор Перетятько после шестого класса определен в сельхозшколу, здесь получил профессию токаря. Семилетку окончил с отличием. Руки у него необыкновенно сильные, чуткие и ловкие. После окончания школы его оставили в детдоме. Он выполнял токарные работы для окрестных совхозов. И не только кормился своим ремеслом, но и получал за свой труд немало благодарностей. А в свободное время продолжал рисовать.

Еще в школе, завидев клочок бумаги, он невольно тянулась к карандашу. Сначала набросками заполнялись чистые страницы в тетрадах, затем появились первые рисунки в стенной газете. Его хвалили. И он считал, что это искусство ему вполне удавалось.

Однажды в какой-то газете прочитал объявление о приеме в Московское высшее художественно-промышленное училище имени М.И. Калини-

на, бывшее Строгановское. Провожали Федора в столицу всем детдомом, и даже снабдили провиантом: вместе с нехитрыми пожитками в маленьком чемоданчике самое ценное – кусок сала и хлеб.

С большими приключениями, которых хватило бы на целую книгу, Перетятко добрался в Москву. Его заветный чемодан с провизией стащили в харьковском поезде, и хлопчик с Полтавщины предстал перед строгими экзаменаторами училища во всей своей юношеской простоте и открытости. Шел тридцать седьмой год.

На живописное отделение его не взяли – не выдержал экзамена по русскому языку. Но хлопчика заметили и предложили скульптурное отделение. Что-то в нем было... Настоящие мастера знали: для одаренного человека экзамены – формальность.

Удивительный мир искусства открылся перед юношей. Он окунулся в него с радостной готовностью, душа его пела. Он почувствовал: это его путь. Не пугали трудности. К ним он привык. Федор Иванович вспоминал, что иногда по нескольку дней он не появлялся в училище. Нет, не прогуливал. Так бывало накануне больших революционных праздников, когда требовалось рисовать множество плакатов и разных лозунгов – верный заработок вечно голодным студентам.

«Над черным носом нашей субмарины...»

Тогда при наших встречах мы, естественно, касались темы Великой Отечественной войны, она занимала в жизни и творчестве Федора Ивано-

вича особое место, фактически пронизывает его от начала до конца, по-своему проявляется в том или ином произведении. Для художника Перетятко война стала большим испытанием и едва ли не самым горьким жизненным опытом. Федор Иванович является участником боевых действий, награжден медалью «За оборону Севастополя» как фронтовик, уже в мирное время – орденом Отечественной войны II степени (28.04.1988), юбилейными медалями. Этими наградами он дорожил по-особому. Вспоминая военные годы, Федор Иванович достал свои фотографии той поры. На одной из них совсем юный молодой человек в тельняшке и бескозырке, на ленте, опоясывающей ее, читается надпись: «Отряд подводного плавания».

В одну из наших встреч Федор Иванович рассказал, как стал черноморцем-подводником. Во многом – неожиданно для себя. В сороковом, после второго курса Московского художественного училища, его призвали в армию. Медкомиссия посчитала, что парня можно направить в Учебный Краснознаменный отряд подводного плавания им. С.М. Кирова в Ленинграде. Так Федор Перетятко оказался в знаменитом городе на Неве, в учебном заведении, где готовилась элита Военно-морского флота. Как уже сказано, главным критерием отбора сюда являлось здоровье будущего курсанта. Через этот отряд прошел и будущий Герой Советского Союза, командир подводной лодки С-13, легенда подводного флота Александр Маринеско, а не так давно исследователи установили, что курсантом отряда в начале тридцатых годов был и отец нынешнего Президента Российской Феде-

рации Владимира Владимировича Путина – Владимир Спиридонович Путин.

Вспоминая о том времени, Федор Иванович рассказывал, что отбирали в тот отряд наиболее сильных ребят, у кого здоровые легкие. На месте предстоял сложный испытательный экзамен «через башню» – Учебно-тренировочную станцию. После него некоторых курсантов отправляли в другие части. Станция, или коротко УТС, была оборудована в здании бывшей церкви Милующей Божией Матери в Галерной гавани на Васильевском острове. Высота храма под куполом – сорок три метра. В то время, как и многие храмы, оказался недействующим. Несколько лет назад до поступления сюда Федора Перетятько в этом высотном здании, во многом руками первых курсантов, была возведена уникальная шахта высотой в двадцать один метр с барокамерой. Между собой курсанты называли ее «кастрюлей». В эту «кастрюлю», в замкнутое пространство, подавался воздух под высоким давлением и в кромешной темноте курсанты в защитном снаряжении отрабатывали выход из затонувшей подводной лодки и подъем на поверхность сквозь «толщу воды». Испытание не для слабых, помимо силы духа требовалось иметь объемные легкие, чтобы, задержав дыхание, как можно дольше находиться «под водой». Федор Перетятько его выдержал. Так у него появилась полосатая тельняшка и бескозырка, запечатленные на довоенной фотографии.

С началом войны, в июле 1941 года, часть курсантов-подводников перебросили в Крым, на Черноморский флот. Сначала Федор Перетятько зачислен в экипаж минно-торпедной дизель-

электрической подводной лодки «Ленинец» под номером Л-4. Еще она имела название «Гарibaldiец», с которым была заложена на судостроительном заводе в Николаеве еще в 1930 году. В июле сорок первого «Гарibaldiец» проходил ремонт в Севастопольском доке, и в августе того же года приступил к минным постановкам. Позднее Федор Иванович воевал в составе экипажа подводной лодки такого же типа Л-23. Лодки типа «Л» относительно небольшие по размеру: длиной 78,5 метра, шириной 7,2 метра, осадка – 4,2 метра, глубина погружения – до 90 метров. Экипаж – 55 человек. На вооружении шесть носовых торпедных аппаратов с запасом двенадцать торпед калибром 533 миллиметра, два кормовых минных устройства (20 мин), одно орудие калибром 102 мм и одна 45-миллиметровая зенитная пушка. Лодка предназначалась как для подводного, так и надводного плавания.

Из истории Л-4 известно, что в самом начале, в одном из своих довоенных походов, на ней случилась авария: в подводном положении в одном из отсеков из-за плохой вентиляции произошел взрыв гремучего газа. Имелись и человеческие жертвы. Этот факт свидетельствовал о том, что особого комфорта для подводников на субмарине не было. Начало войны лодка встретила под командованием капитан-лейтенанта Евгения Петровича Полякова в составе 1-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота.

На расспросы о том, как приходилось воевать на подводной лодке, Федор Иванович усмехнулся и посоветовал прочесть очерк Константина Симона о четвертом походе на Л-4, в котором прини-

мал участие сам писатель. Действительно, очерк К. Симонова «У берегов Румынии» был опубликован в центральной армейской газете «Красная звезда» 19 сентября 1941 года. Тогда на подводной лодке Л-4, считавшейся одной из результативных в дивизионе, вместе с ее командой корреспондент газеты Константин Симонов совершил «дальний поход от берегов Крыма». На корпусе лодки он увидел несколько вмятин и пробоин – следы от вражеских снарядов. После ремонта лодка вновь в строю.

В повседневной жизни подводников Константин Симонов отметит одну важную особенность. В лодке шесть герметически закрывающихся отсеков. Если случится, что от разрыва глубинной бомбы разорвет обшивку какого-либо из них, то его обитатели не должны покидать свои места, а обязаны стойко бороться за живучесть лодки. «Если это не удастся, они молча погибнут, ценою своей жизни спасая всю лодку», – заключает автор корреспонденции, излагая неписанный закон подводников. В тот раз свои мины лодка выставила, незаметно приблизившись к самому берегу противника. Константину Симонову позволили увидеть в перископ «совсем близко» очертания берега – «обрывистые склоны гор, осыпи камней, прилипшие к скалам домики».

При возвращении, выполнив задание по постановке мин, в открытом море подводники заметили силуэт идущего судна. Готовность к торпедной атаке! Срочное погружение! Вот как преподносит эту срочность автор: «Находящаяся наверху вахта, мгновенно скользнув на руках, по трапам скатывается вниз. Звенит сигнал погружения.

Когда командир, сходящий с мостика последним, задраивает у себя над головой люк, лодка уже почти погрузилась, вода доходит до мостика. Через несколько десятков секунд над водой остается только черный глаз перископа...» Лодка пытается догнать судно, подойти как можно ближе к нему. Субмарина всплывает, орудийный расчет занимает свои места. Полтора часа длится погоня. Командир решает бить с дальней дистанции. Один за другим три снаряда летят к цели. Однако дым рассеивается и горизонт пуст. Подводники считают, что со второго выстрела прямое попадание. Лодка «полным ходом» идет к месту потопления, чтобы убедиться в результативности атаки, а наблюдатели внимательно следят за горизонтом: судно могло успеть радировать вражеским самолетам, и тогда лодке грозили глубинные бомбы. Долго оставаться на поверхности нельзя. Снова срочное погружение. Естественно, многое из увиденного на подводной лодке у Симонова, по понятным причинам, в том числе по условиям военной цензуры, осталось в блокноте. Как теперь известно, и сам заголовок корреспонденции указывал совсем на другую цель похода.

По воспоминаниям Константина Симонова и главного редактора «Красной звезды» Давида Ортенберга, тогда в недельный поход на подводной лодке корреспондент газеты отправился без разрешения, от него требовалось лишь провести интервью на берегу. Однако Симонов не был бы Симоновым, если бы сам не побывал в походе с экипажем.

Позднее, приводя в порядок свои фронтные блокноты, Константин Симонов более подробно

вспомнит тот поход на подводной лодке в дневнике писателя за 1941-й год «Разные дни войны». В самом начале пути, когда Л-4 оказалась за боновыми заграждениями Севастопольской бухты, писатель узнал, что лодка идет на просто на «дежурство в квадрат», а для выполнения более опасного боевого задания: требовалось «почти на виду у немцев» расставить минные ловушки для вражеских транспортов «у румынских берегов». Здесь – важная военная база Германии для снабжения войск, рвущихся в Крым и Севастополь. Как замечает писатель, это была «одна из тех невидимых, опасных и важных работ», которую он сравнил с работой саперов, идущих впереди танков. В боевом походе весь световой день лодка идет под водой, и только ночью, если позволяет обстановка, всплывает на поверхность.

В часы глубокого погружения в лодке становится душно, с непривычки тяжело дышать, от недостатка кислорода постоянно клонит в сон. На лодке это время тишины, здесь «стараятся меньше говорить и двигаться, чтобы не поглощать лишнего кислорода».

Симонов вспоминает внутреннюю тесноту лодки от «бесконечного количества приборов, труб, каких-то медных шлангов, клапанов, рычагов». Его удивили узкие люки, которые вели из отсека в отсек. Сама система знакомства с подводной лодкой была своеобразной: если он ударялся обо что-то «головой, плечом, носом, ногой, или какой-нибудь другой частью тела», то ему, как новичку, невозмутимо говорили: «А это, товарищ Симонов, привод вертикального руля глубины», или – «клапан вентиляции», «аккумуляторное

отделение». Вспоминает Константин Симонов «дикую» жару, когда лодка идет полным ходом, на вахте почти все в штанах на голое тело и майках, строжайшую дисциплину безо всяких формальностей. Командир подводной лодки капитан-лейтенант Поляков – единственный «зрячий» на лодке, власть его «безгранична», только он в решительные моменты смотрит в перископ и в секунды принимает решение о торпедных атаках, «и никто ему не может помочь советом, если бы он даже этого и хотел».

Жизнь на подводной лодке устроена «наоборот»: самые рабочие часы ночные, когда она всплывает на поверхность для зарядки аккумуляторов, завтрак – в шесть часов вечера, обед – в полночь, а ужин – в шесть утра. Помимо газетной корреспонденции Константин Симонов привез из того похода замечательное поэтическое произведение «Над черным носом нашей субмарины взошла Венера – странная звезда...», говорившее о самых сокровенных чувствах любимого человека.

В своих дневниках писатель вспоминает, как увидел он эту «странную звезду». В маленькой рубке, в верхней части люка, который выходил из лодки наружу, подводники устроили «курилку». На полу рубки каски, курильщики по двое устраивались на них на две-три минуты, чтобы сделать несколько затяжек – внизу ожидают в очереди следующие. Поскольку курилка устраивалась только ночью, когда лодка всплывала на поверхность, то над головой в эти считанные минуты они видели «черное южное небо со звездами».

Симонов заметил, что небо темнее моря, и на этом ночном небосводе блестела отдельно от других звезд зеленая Венера...

Сегодня на просторах интернета гуляют снимки подводных лодок, на которых пришлось воевать Федору Перетягю. На одном из них запечатлена команда Л-4 за приемом пищи на открытой палубе. Если приглядеться, то на заднем плане, в центре, два молодых человека с обнаженными торсами. Тот, что слева, очень похож на Федора Перетягю. Во всяком случае, он его очень напоминает. В «Разных днях войны» Константин Симонов вспоминает, что накануне похода бывший с ним фотокорреспондент Яков Халип перефотографировал всех – от командира подводной лодки до наводчика зенитного пулеметы. Симонов в это время наслаждался дневным светом, сидя на мостике лодки. Он смотрел на необычно оживленную Севастопольскую бухту, по которой беспрерывно сновали катера и корабли. Севастополь показался ему необычайно красивым...

Пройдет несколько месяцев, и этот красавец-город на две трети будет в развалинах, с остервенелой ненавистью к его защитникам немцы бомбили Севастополь с воздуха и суши...

Тогда при встрече Федор Иванович позволил переснять одну из его довоенных фотографий в годы учебы, на которой он позирует, изображая со своим партнером «борьбу». Комментируя ее, он подчеркивает, что его грудная клетка была вполне подходящей для подводника...

Записи судового журнала «Гарибальдийца» свидетельствуют, что всего в 1941 году Л-4 семь раз выходила на минные постановки в районы

Мангалии, восточнее мыса Олинька и на подходах к Варне, здесь выставлено в общей сложности сто сорок мин, на которых подрывались и гибли вражеские транспортные суда с вооружением, продовольствием. Один раз лодка выходила на торпедную атаку против румынского эсминца.

А двенадцатого декабря в районе Варны Л-4 подорвалась на mine, но, получив повреждения корпуса и механизмов, оставалась в заданном районе до полного выполнения боевого задания. Своим ходом дошла до базы и встала на четырехмесячный ремонт.

Чаша испытаний. «Русский Федор»

Дивизионы подводных лодок Черноморского флота в сорок первом – сорок втором годах обеспечивали оборону его главной военно-морской базы – Севастополя. Их экипажи, выполняя боевые задания, в полной мере разделили героическую судьбу защитников крепости. Когда немцы совсем обложили минами подходы к порту с моря и держали их под прицелом авиации, подводники оставались единственными, кто мог доставлять в осажденную крепость боеприпасы, продовольствие, вывозить раненых.

В сентябре сорок первого в судьбе Крыма, который Гитлер мечтал превратить в германскую колонию под названием Готенланд, началась трагическая полоса. Над Северным Крымом нависла смертельная угроза: немецкие части, форсировав Днепр, стремительно продвигались на восток. 11-я армия вермахта повернула на Крым, надеясь с ходу взломать нашу оборону на узком северном

перешейке и кратчайшим путем двинуться на Кавказ.

На рассвете двадцать четвертого сентября 1941 года армия Манштейна начала наступление на Перекоп, советская 51-я армия, действовавшая на правах фронта, вступила в кровопролитные бои на северном перешейке, за которым лежал Крым. Но помощь выдвинулись части Приморской армии, эвакуированные из Одессы.

Из экипажей выведенных из строя подводных лодок для защиты Крыма на суше формировались особые бригады морских пехотинцев – «черных бушлатов», ярости и бесстрашия которых так боялись фашисты. В одну из них, 1-ю ударную бригаду морских пехотинцев, рядовым краснофлотцем был зачислен и Федор Перетятко.

Федор Иванович вспоминал, что примерно с месяц им пришлось драться в районе озера Сиваш. Его части довелось с жестокими боями выходить из окружения. В одном из боев, недалеко от населенного пункта Ассы, он был тяжело ранен и попал в плен. Колонну под конвоем гнали в Николаев. По дороге он пытался бежать. Был пойман, жестоко избит и помещен в гестапо. Оттуда для непокорных одна дорога – в концлагерь.

Для Перетятко начались дни и годы жестоких испытаний. Попал краснофлотец в самый страшный лагерь смерти – Бухенвальд, что близ Веймара на территории Германии. Пленники здесь находились в ужасающих условиях. Ежедневно в печах крематориев сжигались сотни и тысячи заключенных...

Система бухенвальдского конвейера действовала с немецкой педантичностью: прибывающих

узников сортировали, наиболее здоровых отправляли в так называемые внешние концлагеря, которые устраивались близ заводов и предприятий, производивших продукцию для вермахта. Они были не только в Германии, но и на территориях всех оккупированных ею европейских стран. Конвейер поставки бесплатных рабов не останавливался всю войну.

Перетятко перевезли в один из таких внешних лагерей Бухенвальда под Лейпцигом, его узники работали на известном авиазаводе «Эрла машиненверк» («Erla Maschinenwerk»), выпускавшем важные узлы для самолетов Me-109 – «мессершмиттов». Бараки, колючая проволока, жидкая баланда. «Работодатели» не беспокоились ни о пище, ни о здоровье заключенных, карали за малейшую провинность. Воспоминания об этих годах самые тяжелые. Судьба преподнесла Федору Перетятко полную чашу страданий... Но спасали молодость и здоровье. А еще свое ремесло, которое он не переставал ощущать в своей душе и руках. Иногда вольнонаемные рабочие-немцы тайком передавали симпатичному русскому юноше тоненький кусочек хлеба, смазанный маргарином или вареньем. Рисковали жизнью – такое пособничество каралось расстрелом... Федор оказался в интернациональной команде товарищей по несчастью. Его окружали чехи, поляки, французы. По линии Международного Красного Креста им иногда присылали посылки с продуктами. Некоторые просили «русского Федора» нарисовать свой портрет, а затем листочки с рисунками переправляли родственникам. За это расплачивались съестными кусочками. СССР,

как известно, от своих военнопленных отказался... Может быть, эти маленькие кусочки тогда спасали Федора Перетяtko от голодной смерти. Однако он чувствовал, что силы его убывали, появились боли в груди...

– В начале сорок четвертого на Лейпциг начались налеты английских и американских бомбардировщиков, – рассказывал Ф.И. Перетяtko. – Самолеты нещадно утюжили город, его заводы и предприятия. Досталось и «Эрле». От нее остался один цех, который ближе всего к лагерным баракам... По счастливой случайности мы остались живы. Завод так и не смогли запустить. И нас, заключенных, перебросили в новый концлагерь «Флега», близ ткацкой фабрики. «Разместили» на самой фабрике – человек 800 затолкали на чердак, под самую крышу. Здесь пробыли до весны сорок пятого...

Фашисты видели, что Красная Армия неумолимо движется к Берлину, наступает по всей линии фронта – через Польшу, Чехословакию, переходит границу Германии. Эти территории, словно сыпью, усеяны концлагерями. Следы преступлений не скрыть, но можно попытаться скрыть их масштабы. Главные преступники спешили «в объятия» так называемого «второго фронта», трусливые исполнители «грязной работы» избавляются от лишних свидетелей. Лагерная машина смерти завертелась со злобной скоростью.

Весной сорок пятого из Бухенвальда отправляются несколько «маршей смерти» – длинные колонны узников в сопровождении вооруженных эсэсовцев выходят за ворота лагерей и медленно

движутся по этапу. По дороге – массовые расстрелы. Федор Иванович рассказывал, что их колонну выгнали на этап в апреле, долго вели по дороге до какого-то леса. По пути человек восемьдесят расстреляли... О том, что Берлин уже пал, заключенные не знали.

– Вечером в лесу, а это было уже пятого мая 1945 года, из колонны отобрали человек триста пятьдесят, погрузили на тракторные прицепы. Всю ночь нас везли через лес, ничего не видно, – рассказывал Ф.И. Перетяtko. – На рассвете, шестого мая, мы въехали в Ляйтвериц, это в пяти километрах от Терезина, уже на территории Чехословакии. Город увешан флагами, знаменами – люди отмечают конец войны... Мы воспряли духом – теперь нам не дадут погибнуть...

Эсэсовцы сдали узников якобы под опеку Международного Красного Креста, и, попросту говоря, сразу смылись. Мы без конвоя. Не верится. В концлагере столпотворение – тридцать пять тысяч человек...

По всей видимости, тут свирепствовал тиф. Нас поместили в карантинный барак, начали выдавать посылки с продуктами – сахар, мясные консервы, печенье. Иностранцам – посылку в руки, русским – посылку на двоих. Вскоре сбежал и Красный Крест, испугались тифа...

Так в полосатых робах мы пробыли до девятого мая. Утром грохочут танки. Наши! Танкисты! Они шли на Прагу, чтобы разгромить последний очаг сопротивления гитлеровцев. Проволока – прочь, ворота открыты! Вместо нас в бараки ведут пленных немецких солдат. Они, увидев скелеты в

полосатых робах, суют нам в руки колбасу, хлеб, масло, сигареты...

Нас сразу в медсанбат, санобработка, баня. Мы впервые за эти годы надели костюмы. Я надел сразу два. В Ляйтверице была обувная фабрика, и нас обеспечили на выбор. Кто сколько хотел. Я обул туфли, на них – ботинки. Другую пару ботинок связал шнурками, перекинул через плечо и принес товарищу по лагерю...

Возвращение

При осмотре в госпитале врачи заподозрили у Федора Перетятыко туберкулез. Вдобавок его желудок напрочь отказывался переваривать «человеческую» еду. Почти двадцать суток после каждого приема пищи – рвота. Он угасал на глазах, превращаясь в «ходячий скелет». Все продукты, а их было теперь множество и самых разнообразных, вызывали нестерпимое отвращение. В очередной раз спасло его, как считал сам Федор Иванович, чудо. В госпитале он сошелся с русским летчиком, также бывшим узником Бухенвальда. Тот оказался немного покрепче, на бричке с прицепом развозил со складов продукты по госпиталю. Однажды Перетятыко отправился с ним на военный продовольственный склад: в палате его попросили привезти продуктов для вареников. Кому-то пришлось в голову приготовить вкусное домашнее блюдо! Пока летчик грузил свою бричку, Перетятыко выбирал провизию: ящик сливочного масла, ящик яиц, творог, мука. Чтобы на всех хватило! На складе чего только не было! Бидоны с молоком, сметаной. Открыв один из них, обнару-

жил: кислое молоко, вроде простокваши или кефира. Вдруг ощутил давний знакомый запах, подступило невиданное чувство голода. Выпил сразу литра полтора. Ничего... В палате сразу свалился на койку. Спал крепким сном и не слышал, как из привезенных продуктов готовились вареники и суп. Проснулся с какой-то незнакомой легкостью. Его потащили к столу, стали угощать наваристым бульоном. С опаской попробовал ложечку. Удивительно, но рвоты не было... Жизнь медленно делала ему навстречу робкие шаги. К осени на обритой голове появилась шевелюра. Он стал, «как все». Шутил – выглядел «вполне транспортабельным». В воинской части от службы в армии его освободили. Зачислили в группу для демонтажа и вывоза в СССР заводского оборудования. Оно полагалось стране-победительнице в счет репараций Германии. Работал Федор Перетятыко в демонтажной группе на автопредприятии в Цитау, затем в Дрездене.

В Германии Федор Перетятыко пробыл до июля 1946 года, затем отправлен в Россию. После проверки получил паспорт, в Москве ему разрешили столичную прописку. Он вернулся в Художественное училище, сразу на четвертый курс. Через много лет скульптор Перетятыко будет создавать бюсты своих современников, героев Великой Отечественной войны – подводника, летчиков, танкистов. В творческой судьбе скульптора тема вовсе не «проходная», она будет связана с воспоминаниями о войне, потребует немалых душевных сил. Как и всем фронтовикам, а в случае с Федором Ивановичем – еще и как узнику фашистских концлагерей, ему нелегки воспоминания о войне.

Но из памяти их не вычеркнуть. Надеюсь, что его работам суждена долгая жизнь, он старался передать в них не только свои переживания, но и надолго сохранить память о тех героических людях, кто беззаветно служил Отчизне и не жалел для нее своей жизни.

Образы, беззаветно отдавших жизнь за свободу Отечества воплощены в многочисленных скульптурных композициях Федора Перетятько, несколько из них посвящены уроженцам Ставрополя – подводникам, летчикам, танкистам.

Это бюсты Героев Советского Союза И.А. Бурмистрова (Ставрополь, средняя школа № 11), Л.И. Севрюкова (Ставрополь, средняя школа № 3), В.Г. Зайцева (Ставрополь, кооперативный техникум), героическому летчику-испытателю М.П. Васякину (Ставрополь, средняя школа № 9), памятник-мемориал погибшим героям в селе Шведино Петровского района Ставропольского края и другие.

Сложилось так, что герой-подводник И.А. Бурмистров, летчик морской авиации Л.И. Севрюков и будущий скульптор Федор Перетятько одновременно защищали Крым и Севастополь в составе Черноморского флота под водой, в небе и на земле... Но последний из них не мог тогда знать, что через много лет с этими именами он встретится в Ставрополе, в зеленом южном городе, отдаленном на четыре с лишним сотни километров от Черного моря.

Военная тема не отпускала художника до самых последних лет. В числе его последних работ бюсты народного маршала Победы Г.К. Жукова, героя одноименной поэмы Александра Твардов-

ского Василия Теркина, удивительно пластичный барельеф «Партизан».

Особая ценность этих работ в том, что скульптор создавал, в сущности, портреты своих сверстников и современников, образ своего поколения, прошедшего сквозь жестокие испытания. Это не обобщенный взгляд со стороны, а глубоко личные переживания, в них звучат и гордость за свое героическое поколение, и боль невосполнимой утраты...

В Кисловодске

Учиться в Москве Федор Перетятько не смог по болезни. Требовалось длительное лечение, и непременно в теплом солнечном климате. Студенту выхлопотали направление в сказочный город на Северном Кавказе – Кисловодск. И не только. По линии Министерства здравоохранения СССР для него из Москвы присылали лекарства, и он быстро пошел на поправку. Помогал и чудодейственный горный климат.

Федор Перетятько зачислен в организованный еще в 1940 году Художественный фонд, от которого получал различные заказы. Они давали небольшой, но более-менее стабильный заработок. Судьба свела его с Северным Кавказом и накрепко с ним связала. Душа художника чутко отзывалась на все события, которыми жила страна. Свои чаяния, выстраданные душой и сердцем, художник Федор Перетятько воплотил в одной из своих первых послевоенных скульптурных композиций «Мир народам» (1947–1949), выполненной для Кисловодска. Молодые крепкие люди на сильных

руках бережно поддерживают над головой сферу – символ земного шара.

Еще в училище, на уроках знаменитых мастеров, среди которых Федор Иванович отмечал скульптора, живописца и художника-керамиста Б.Н. Ланге, он усвоил, что мастерской художника является природа. Величественная и загадочная, она расцвечена яркими красками, пронизанными солнечным светом, способна вселять оптимизм и новые душевные силы, которые так необходимы художнику. Вселённая в это живое пространство та или иная скульптура должна «играть» в нем, органично дополняя его новыми красками и линиями. В Кисловодске молодой скульптор часто поднимался по теплым отполированным ступеням на отроги Джинальского хребта и сверху любовался Кисловодской долиной. Перед ним амфитеатром громоздились каменные громады. Ни грозные тучи, ни легкие облака не нарушали их спокойствия. Строгие, лаконичные формы, лишённые всякой помпезности, удивительно «играли» в пространстве, создавая неповторимую гармонию мира. Вот секрет мастеров Древнего Египта!

Когда он спускался в тенистые аллеи Курортного парка, ему слышались торопливые шаги Пушкина, виделся печально-задумчивый взор Лермонтова. Казалось, вся природа этого удивительного города была насыщена прекрасной поэзией. Выполняя заказы для Художественного фонда, скульптор параллельно начинает работать над образами величайших поэтов, которым Кавказ подарил творческое вдохновение. Он перечитывает «все» Пушкина и «все» Лермонтова. В

дальнейшем это станет нормой при подготовке к работе над образами своих героев. Дивные строки запоминались сами собой, скульптор «вживался» в мятежную судьбу поэтов, пытаясь понять «внутренние пружины» их чаяний и устремлений души. Так рождался бюст светлого солнечного гения А.С. Пушкина, мятежной и неуспокоенной души М.Ю. Лермонтова. Первая работа приобретена для одной из кисловодских школ, а вторая завершена позднее, в 1959 году, в «ставропольский» период творчества. В Кисловодске скульптор Перетятько создал великолепный барельеф русского живописца Н.А. Ярошенко (1958 г.), который можно увидеть на «Белой вилле» – в доме-музее его имени. Для санатория «Горный воздух» выполнен характерный бюст физиолога И.П. Павлова (1952 г.), а замечательная фигурка горного тура, которая так нравилась самому автору, установлена на одном из отрогов Джинальского плато.

В Ставрополе. У подножия Крепостной горы

В 1956 году скульптор Ф.И. Перетятько переехал в краевую столицу – Ставрополь. Здесь от Художественного фонда скульпторы и художники получили большой заказ – требовалось изготовить шестьсот портретов видных партийных и государственных деятелей. Город Федору Ивановичу понравился: много зелени, здания из светлого природного пиленого камня. Со смотровой площадки Крепостной горы открывался чудесный вид на окрестности, а на юге в ясную пого-

ду в небе можно различить вершины двуглавого Эльбруса. Со временем художник сроднился с городом, он вошел в его душу своей мужественной поступью и какой-то нежной патриархальностью извилистых улочек с уютными усадьбами частных домиков, приютившихся у подножия возвышенностей, со своими каменными заборчиками, коваными ажурными решетками дверных навесов, выступавших над тротуарами. Как художник, он полагал, что свое лицо городу придают светлые тона изваяний, они лучше смотрятся под ярко-голубым небом южного края, «играют» в пространстве, насыщенном зеленью. Считал, что у города, обосновавшегося на горных отрогах, обязательно должны быть голубые или ярко-зеленые крыши...

В Ставрополе скульптор Перетятько работает много и с удовольствием. Ему поступает важный заказ от краеведческого музея – изготовить бюсты революционеров и видных деятелей партии Серго Орджоникидзе и Сергея Мироновича Кирова.

В эти годы в городе идет обустройство и реконструкция зеленого бульвара на проспекте К. Маркса, который плавно огибает Крепостную гору с запада на восток и продолжается более чем на два километра до самого железнодорожного вокзала. Проект реконструкции бульвара курирует его автор – городской архитектор Бонифаций Фелицианович Будкевич. По его замыслу, продолжая традиции прошлого, в этом зеленом оже-релье требовалось создать несколько площадок, которые должны подчеркнуть красоту природных особенностей города, рассказать о его истории, культуре. На них планировалось разместить

памятники, городские скульптуры, устроить фонтаны. Бульвар на долгие годы становится «мастерской» для скульптора Перетятько. И сегодня с его творениями жители и гости города встречаются постоянно.

Одна из первых работ, ставшая серьезной заявкой большого мастера, связана с «осетинским уголком» – площадкой с фонтаном и памятником-бюстом из светло-серого гранита осетинскому поэту Коста Хетагурову. Ф.И. Перетятько – автор памятника-бюста, который был установлен в 1959 году. Федор Иванович вспоминал, что этот уголок создавался к столетию поэта, по заказу города. Сколько горячих творческих споров о принципах оформления этого пространства было с городским архитектором Б.Ф. Будкевичем, выступающим архитектором памятника. Перетятько предлагал свое решение, основанное на пропорциях египетской архитектуры и скульптуры, которыми не переставал восхищаться всю жизнь. В его основе – простота без излишней помпезности, гармония линий и объемов, которые, как был уверен Перетятько, лучше всего «работают» в открытом пространстве». Именно так!

В итоге получился настоящий шедевр с горными мотивами, органичными для города, расположенного на отрогах Кавказских гор, так и теме самого памятника. Подножие установлено на подпорной стенке с фонтаном-картушем и бассейном в обрамлении «рваных» каменных пластин – брекчий, напоминающих уступы горных ущелий, по которым струится прозрачная родниковая вода. Просчитанная «геометрия» самого памятника-бюста, широкие лестницы, украшен-

ные шарами, пандусы, выводящие к центральной аллее, зеленое обрамление – здесь каждая деталь «работает» в пространстве, глубоко раскрывая тему всей композиции. Портрет-герма Коста Хетагурова признан памятником искусства. Сегодня он один из немногих высокохудожественных произведений, украшающих наш город.

«Отрада осени золотой...»

Между верхней и нижней частями бульвара, у восточной пологости Крепостной горы, важный «исторический перекресток» Ставрополя. Здесь начинается великолепно отреставрированная Кафедральная лестница, ведущая на Крепостную гору. Не так давно, уже в XXI веке, на ее плоской вершине воссозданы православные святыни Северного Кавказа – комплекс кафедрального собора нынешней Ставропольской и Невинномысской епархии во имя Казанской иконы Божией Матери с величественной колокольней, возвышающейся на шестьдесят два метра. Казанская икона является покровительницей Ставрополя еще со времен заложения здешней одноименной крепости, которая строилась в составе Азово-Моздокской оборонительной линии в 1777–1778 годах. Ее первые строители – солдаты Владимирского драгунского полка и донские казаки – прибыли сюда по приказанию военного губернатора Астраханской губернии генерал-майора Ивана Варфоломеевича Якоби в середине октября 1777 года, как раз под Казанскую. Сегодня небесная покровительница Ставрополя вновь сияет над нашим городом. А внизу, на площадке Ермоловского

бульвара, у Кафедральной лестницы, две скульптуры женских образов – «Девушка со снопом» и «Девушка с виноградом», созданные Федором Ивановичем Перетяtko. Эту «заказную» работу скульптор превратил в настоящие шедевры. Скульптуры высотой два с половиной метра из бетона, мраморной крошки с обработкой под искусственный камень создавались в семидесятые годы прошлого XX века, когда восстановленных ныне собора и колокольни на Крепостной горе еще не было. Собор и колокольню строили в XIX веке, в 1842–1867 годах, в XX веке они были утрачены. Собор «разобрали по камешку» в тридцатые годы, а колокольню взорвали в годы Великой Отечественной войны, в мае сорок третьего, когда Ставрополь был очищен от немцев. Долгие годы Крепостная гора стояла «обезглавленной», но люди-то помнили эти святыне православные места... Создавая своих «Девушек...», не учесть стилистику этого места скульптор Перетяtko не мог. Потому на вопрос, как он сам «читает» в этом пространстве символы «Девушек...», Федор Иванович ответил, что для него это, прежде всего, святыне образы матерей, неутомимых и терпеливых тружениц, самой России, руками которых создается, в том числе, и то изобилие (сноп пшеницы, корзины с виноградом в руках у Девушек), которым славится Ставропольский край.

Для скульптора Перетяtko – поклонника античной скульптуры – неслучайны в руках «Девушек» снопы пшеницы и гроздь винограда. Непременные символы изобилия античного мира также присущи Ставрополю, городу «с греческим именем». Вспоминаются аналогичные пушкин-

ские эмблемы античного мира. В цикле «Подражания древним» это «золотистые хлебы», «Бог веселый винограда» – неперенные атрибуты, указывающие на сущность изобилия, самой жизни человека. И блистательный пушкинский сюжет из «райской» Тавриды:

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

Примечательно, «пушкинская площадка» и памятник самому А.С. Пушкину находятся немного ниже «Девушек». Поэт дважды, в 1820 и 1829 годах, посещал Кавказ, проезжал Ставрополь и делал в нем короткие остановки.

На площадке у Кафедральной лестницы, ставшей, поистине историческим перекрестком, сошлись земные и небесные покровительницы нашего благодатного края! Истинная гармония места... Редкая удача для городских скульптур подобного рода. Как все точно угадал скульптор, предвосхищая события на полвека вперед!

Со временем скульптуры «Девушек...» не только не потеряли своей актуальности, но после восстановления храма на Крепостной горе приобрели новые смыслы. В этом и заключается настоящее искусство. Великолепна техника исполнения самих фигур, для них подобран особо прочный ма-

териал. В этом также мастерство скульптора. И стоят «Девушки...» уже полвека, и всегда прекрасны: и в летний зной среди ярких цветов-летников на клумбах у подножия пьедесталов, и овеваемые легким пухом снегов, когда суровый Кавказ посылает в долины свое морозное дыхание.

Сегодня бульвар, наполненный скульптурами и фонтанами, является украшением города, он также свидетельство и его высокого творческого потенциала в непростой послевоенный период. Свое значительное место в нем и у скульптора Федора Ивановича Перетягко.

После долгой разлуки

В одну из наших встреч Федор Иванович Перетягко достал красиво оформленный документ – Благодарственное письмо к его 85-летию с таким текстом: «Уважаемый Федор Иванович! Союз художников России благодарит Вас за то, что Вы в годы своей молодости мужественно и самоотверженно участвовали в защите нашей любимой Родины, а в мирное время достойно и честно служите российскому искусству». Такая оценка творческой деятельности художника дорога для него, как всякие заветные слова, сказанные при жизни. «Достойно и честно» – это точно о нем, труженике-скульпторе.

В послевоенные годы в Ставрополе началось обустройство главной краевой площади – площади Ленина. В 1955 году здесь появилось первое общественное здание – Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В 1958 году молодому скульптору

Федору Перетятыко было предложено создать пятнадцать настенных барельефов русских писателей для Большого читального зала.

– Русская литература, мир искусства – моя любимая тема, – делился своими воспоминаниями Федор Иванович. – Тогда я договорился с дирекцией библиотеки, и одно из подсобных помещений выделили мне под временную мастерскую. Я начал работать...

Барельефы, созданные скульптором, украсили читальный зал, стали неотъемлемой частью его интерьера и привычными для посетителей. Великолепная плеяда русских писателей, на которых выросло не одно поколение нашей огромной страны – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Федор Достоевский, Михаил Щедрин, Максим Горький, Антон Чехов... С этими образами в читальном зале, казалось, поселился сам дух высокой культуры.

В последние годы здание библиотеки находится на затянувшейся реконструкции, барельефы убраны. Остается надеяться, что они появятся вновь, ведь невозможно из духовной жизни изъять ее символы, опустошая тем самым не только пространство, но и душу.

Хочется верить, что центральный вестибюль библиотеки вновь украсит и бюст М.Ю. Лермонтова, выполненный Ф.И. Перетятыко из литого тонированного бетона в 1964 году, когда учреждению культуры было присвоено имя поэта. Искусствоведы отмечали, что этот бюст – один из лучших, запечатлевших образ «певца Кавказа». Мне, как и тысячам читателей, удалось застать это произведение искусства в главном вестибюле «Лер-

монтовки»: под сводами великолепного здания, кажется, сам поэт встречал каждого посетителя. Слышались удивительные по красоте, завораживающие строки поэта, вечного странника: «... Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии...».

Федор Иванович рассказывал, как однажды через много лет он зашел в вестибюль библиотеки и с волнением остановился перед своей работой. Он встретился с ней, словно после долгой разлуки, и оценивал ее свежим взглядом. Она ему понравилась. У настоящих мастеров это случается редко. Старый художник не нашел в ней «изъянов молодости», извинительных многим, штампующим образы для школьных хрестоматий. У «его» Лермонтова билась живая частичка собственного сердца...

Гимн мирному созиданию

Ставропольский период в творчестве скульптора Ф.И. Перетятыко – пора его зрелости, мастерство художника здесь получает свои законченные формы и становится тем, что составляет школу и особый почерк мастера. В шестидесятые годы прошлого века Ф.И. Перетятыко созданы известные работы – портреты профессора И.М. Соболя (1960), Героев Социалистического Труда И.Н. Малашенко (1964), каменщика А.А. Волобуева (1959), которые сегодня можно увидеть в музеях Ставрополя. Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.Д. Терещенко установлен в селе

Иргаклы Степновского района. Среди работ этого времени и бюст заслуженного художника России П.М. Гречишкина. Своеобразный гимн труду и созиданию, образы деятелей, которые поднимали страну из военной разрухи, двигали вперед производство, сельское хозяйство, науку, культуру, реально делали жизнь людей богаче и краше. Золотой фонд Ставрополья.

В начале восьмидесятых годов Ф.И. Перетятько создает одну из лучших работ этого периода – «М. Горький. Буревестник». Она свидетельствует о зрелости мастера, которому подвластны самые сложные крупные образы. В эти годы через творчество скульптора проходят биографии мужественных бойцов Октябрьской революции и Гражданской войны. Он создает образы боевых командиров. Имена многих из них остались в истории Ставрополья: репрессированный в тридцать восьмом начдив Д.П. Жлоба, противоречивая фигура трагически погибшего кавбрига И.А. Кочубея, знаменитый генерал В.И. Книга. Здесь и образ известного комдива В.И. Чапаева. Бюст Чапаева один из лучших, где мастеру удалось передать мощную энергетику личности и динамизм характера, приобретен зарубежным нынче городом Гурьевым в Казахстане. Работами скульптора Ф.И. Перетятько Ставрополье гордится по праву, считая их образцами реалистичного искусства. Его имя в ряду больших художников, на творчестве которых продолжают учиться современные авторы.

Светлой грустью наполнено сердце –
Улетают от нас журавли!
Напоследок спешат наглядеться
На просторы родимой земли.

Вновь кричат на заре
с придыханьем,
Собираясь в далёкий свой путь,
Нам напрасных не дав обещаний,
Что с него не придётся свернуть.

Вы с Россией навек не прощайтесь,
Облетайте беду стороной.
И домой поскорей возвращайтесь
Светоносною тёплой весной!

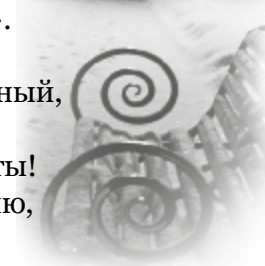
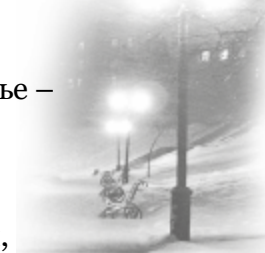
Всё может измениться в одночасье –
Твой близкий друг окажется
врагом.
И, взгляд не поднимая
безучастный,
Отложит объясненья «на потом».

Всё может поменяться в миг единый,
Как будто луч мелькнёт
среди темноты!
И рад не будешь утреннему ливню,
Что заслонил тебя от суеты.



ОКСАНА
КРИС

Поэзия



Но жизнь длинна, есть время для раздумий.
Застыла ель в предутренней мольбе.
Быть может, – это только новолунье?!
И всё не так, как видится тебе.

Вот снова сорван лист календаря,
И ночи по минутам холодают.
А возле дома – роза ноября
Среди листвы опавшей замерзает.

Нам жизнь уже не кажется игрой,
В ней каждый день расписан до заката.
Как будто нам дано самой судьбой
Знать наперёд, что мы придём обратно.

Куда же мы с тобою вновь спешим,
Опережая ветры и метели?
...В одно мгновенье снег припорошит
Цветок зари, что мы не отогрели.

Всё белым-бело в округе,
Тёплых дней расплылся след.
Март, надев свой полушубок,
С крыш счищает мокрый снег.

Вьюга, с ночи разгулявшись,
Ткала скатерти свои,
Лишь под утро, сну поддавшись,
Разом выбилась из сил.

Жду который день весну я –
Вдаль с надеждою смотря.
Может, с ней мы разминулись
На задворках февраля?

Рождество

Огнями светится округа.
Салют взлетает к облакам.
С Христовым Рождеством
друг друга,
Все поздравляют тут и там.

А в храме служба...
Голос певчих
Во славу Божию звучит,
И держат прихожане свечи,
И жизнь – как ясный луч свечи!

Здесь каждый верит всей душою,
Пред Ликом голову склонив,
Что Небеса врата откроют
Для жизни, счастья и любви.

Что в каждый дом вернется радость
И стороной пройдет гроза.
Вот только б ярче разгоралась
Над Миром Первая звезда!

Судьба за нами оставляет выбор –
Какой сегодня мы продолжим путь.
Но как бы он далёк и труден ни был,
Два солнца над землёю не взойдут.
Я верю, не без Высшего участия
Мы делим всё с тобою пополам.
И пусть уже полжизни за плечами –
Внучата столько света дарят нам!

Сейчас вперёд заглядывать не будем –
Придёт пора, и расцветёт сирень.
И явит миру маленькое чудо
Для счастья наступивший новый день!

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ КАВКАЗСКОЙ СТАРИНЫ

С литературной классикой знакомы почти все – хотя бы в пределах школьной программы. Но классики никогда не пребывают в безвоздушном пространстве. Существует литературная среда, писатели более скромных дарований, чьи произведения когда-то вызывали интерес, но постепенно забылись. Смею, однако, утверждать, что литературные раскопки дают иногда неожиданный результат. Неспешно листая пожелтевшие страницы старых книг, можно обнаружить для себя много интересного... *Литературоведение*

Битва русских с кабардинцами

В 1840 году в России вышла в свет книга, выдержавшая потом множество повторных изданий. Речь в ней шла о военных событиях на Северном Кавказе, а главным образом – о любви русского офицера и горской девушки. Свои суждения об этом произведении высказывали такие великие умы,



НИКОЛАЙ
МАРКЕЛОВ

*Литературо-
ведение*

как Белинский и Достоевский. Если добавить, что автор его и сам носил офицерские эполеты, а книгу писал во многом по личным впечатлениям, то кажется, что речь здесь идёт однозначно о Лермонтове и его повести «Бэла». Но это не так: и название книги другое, и автор ее Николай Ильич Зряхов – удачливый сочинитель лубочных повестей. Словари относят Зряхова к «низовым прозаикам». Никакого уничижения, впрочем, в этой формуле нет. Дело в том, что дешёвые лубочные издания выходили большими тиражами, и это была единственная печатная книга, доступная нашему крестьянству и городским низам. По ним учились читать многие поколения простых русских людей, хотя, конечно, примитивное нравоучительное содержание и убогий напыщенный слог этих произведений часто вызывали праведное негодование демократических кругов. Вспомним строки знаменитой поэмы «печальника горя народного» Н.А. Некрасова:

Эх! Эх! Придёт ли времечко,
Когда (приди желанное!..),
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого –
Белинского и Гоголя
С базара понесёт?

Гебхард-Леберехт Блюхер – это прусский фельдмаршал, прославившийся в войне с Наполеоном, глупый милорд – английский милорд Георг, оба они – персонажи наших лубочных изданий девятнадцатого века. Лубочную литературу в 1918 году упразднила Советская власть, начав широкий выпуск сочинений русских классиков.

Что касается Зряхова, то в период 1820–1840 годов он написал и издал добрую дюжину приключенческих, юмористических и детских книжек. Критика Зряхова не любила, справедливо находя, что он «будет иметь самый блестящий успех в передних», у всех, «кто учился на медные деньги». На медные гроши, по-видимому, учился и сам автор. Николай Ильич Зряхов родился в 1782 (или 1786) году в небогатой дворянской семье. Детство его прошло в Астрахани, а в 1801 году он вступил унтер-офицером в драгунский полк и, как признавался сам, «провёл всю молодость свою в походах, военных трудах и разных злоключениях». Довелось повоевать и на Кавказе – против персов и турок. В 1808 вышел поручиком в отставку, через несколько лет вернулся в строй, но военной карьеры не получилось: в 1816 году Зряхов был отставлен от службы «за дурное поведение». Окончил дни свои в конце сороковых и, по существующему предположению, в доме призрения в Москве.

«Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» – не просто самое известное, но и по-своему уникальное сочинение Зряхова: выйдя в свет в 1840 году, оно выдержало в дореволюционной России сорок переизданий! Популярность «Битвы» (часто эту повесть называли просто «Магометанкой») была так велика, что на свет появились её переделки и подделки, а в наше время повесть выходила уже дважды – в Москве и Нальчике в 1990 году (к 150-летию первого издания).

Сюжетную схему повести Зряхов, несомненно, заимствовал в «Кавказском пленнике» Пушкина. Сочинение открывается описанием кабардинцев,

потом следует грандиозное сражение на берегах Терека. Есаул Гребенского казачьего полка Андрей Победоносцев, получив в бою пять ран, попадает в плен к кабардинскому князю Узбеку. Дочь князя, Селима, выхаживает есаула. Молодые люди полюбили друг друга. Восхищённый силой и отвагой русского воина, Узбек предлагает Андрею принять мусульманство и стать супругом его дочери. Победоносцев предпочитает вернуться к своим, и по заключении мира его разменивают среди других пленных. На прощанье старый князь щедро одаривает его: лучшим конём из своего завода, своей драгоценной саблей и прочим. Селима же, переодевшись в мужское платье, проникает в русский военный лагерь, где добивается встречи с Андреем. Представ перед главнокомандующим (командиром Отдельного Кавказского корпуса), влюблённые просят его о покровительстве, тот вызывается быть восприемником при крещении княжны и её посаженным отцом при бракосочетании. Благословляет молодых и прибывший в ставку князь Узбек. По возвращении войск «на свои квартиры», молодые отправляются к родителям Победоносцева, где вскоре получают известие о награждении Андрея золотой саблей с надписью «За храбрость». Кроме того, была пожалована «ему на шею большая золотая медаль с портретом государя, осыпанная алмазами, на Андреевской ленте, с описанием подвигов нашего героя на другой стороне оной». Через пять месяцев после рождения сына Аркадия Победоносцев занемог, старые раны открылись, и он скончался 23 лет отроду на руках жены. София (так при крещении нарекли Селиму), не вынеся потери, умирает буквально на гро-

бе своего супруга, что и было обещано автором в заглавии повести.

В народе «Битву» очень любили. Приведу в пример рассказ одного исследователя, занимавшегося этим вопросом еще в конце девятнадцатого века: «Желая проверить, как относится деревенский люд к лубочным изданиям, мы пригласили к себе в праздник бывших учеников и учениц сельской школы, возрастом от 14 до 18 лет, и начали свои чтения «Битвою русских с кабардинцами». Прежде всего, оказалось, что в деревне существует это «сочинение», как выразились слушатели, в трёх экземплярах – у старосты и ещё у двух мужиков, но они настолько дорожат ими, что перечитывают время от времени в своих семьях, а на руки не дают, особенно школьникам, мотивируя это ревниво тем, что у них, мол, и «своих» книг довольно...»

Причины такой популярности «Битвы» пытались объяснить не раз. Успеху способствовала, видимо, «горячая» и в те времена кавказская тематика и классическая для нашей литературы сюжетная формула: плен плюс любовь. В наши дни подобный сценарий мог бы породить, пожалуй, сорокачасовой сентиментальный сериал. Признавая необыкновенный успех «Битвы» в народе, Белинский находил, что «это не глупость, а только неразвитость, необразованность с его стороны». Смысл суждений Достоевского на этот счёт несколько иной. «Ведь что-нибудь должна же заключать в себе «Магометанка», что нравится и расходится... Главная и первая причина, – писал он, – по-нашему, та, что это книга не барская или перестала быть барскою... Отвергнутая «господами», книжка тотчас же нашла кредит в народе, и,

может быть, ей очень помогло, в глазах народа, именно то, что она не господская».

Итак, с литературной природой «Битвы» всё, кажется, ясно. Теперь попробуем разобраться с историей. Сведения о первом боевом столкновении русских с кабардинцами приводятся уже в «Слове о полку Игореве», где упомянуто о «храбром Мстиславе, иже зареза Редедю предь пълкы косожькыми». Касоги русских летописей – предки современных кабардинцев. В дальнейшем наши отношения складывались по-разному. Так, союз русских с кабардинцами был закреплён в 1561 году браком Ивана Грозного с дочерью князя Темрюка Идаровича – Кученей, принявшей при крещении имя Марии (в народе же, что интересно, царица получила прозвище Пятигорки). При Иване Грозном на левом берегу Терека появилась первая русская крепость, она так и называлась – Терки и находилась напротив устья Сунжи. В материалах Посольского приказа за 1718 год сообщается о возможной численности кабардинского войска для совместного с русскими похода на Кубань против крымского хана: «Черкасских и кабардинских войск выходит в поле до 10 тысяч. И ежели б к тем прибавить донских казаков или иных российских войск, столько же 10, а по вышшей мере 15 тысяч, то довольно с теми на Кубань напасть и разорить; а соединитца им надобно у Кумы реки, у места Бестова».

С другой стороны, как пишет тот же Зряхов, «одно только помрачает славу кабардинцев: врождённое желание к набегам, грабежам и даже убийствам. Они часто, большими партиями переправляясь чрез реку Терек, избирают праздничные и воскресные дни, посвящённые христиана-

ми на моления, нападают на селения и деревни, захватывают народ в церквах, берут в плен, грабят имения и скот, и гонят в свои жилища, перепродавая пленных в дальние страны – туркам и другим народам».

В 1779 году Азово-Моздокская линия выдержала ряд нападений крупных сил сопредельной стороны. «Кабардинцы каждый день беспокоили нас то здесь, то там, – вспоминает об этом полковник русской службы Густав фон Штрандман, командир находившегося в 1779 году на Кавказе Томского пехотного полка, – уничтожали наши пикеты, сжигали траву перед фронтом и постоянно тревожили отряд. Нередко из-за 200 кабардинцев весь отряд стоял несколько часов под ружьем и выставленные пикеты поспешно возвращались». Противник разгромил небольшой русский отряд: «офицер и сорок нижних чинов были изрублены, остальные бежали, оставив пушку в руках у кабардинцев», – сообщает в первом томе «Кавказской войны» В.А. Потто. Генералы Якоби и Фабрициан приняли ответные меры: лагерь противника на реке Малке был окружен и уничтожен.

Тот же Штрандман, как непосредственный участник событий, сообщает в своих записках некоторые подробности дела: «28-го сентября храбрый Фабрицын пошел, с 800 егерями, 2-мя ротами Моздокского батальона и 2-мя казачьими полками, прямо к неприятельскому лагерю на Малке, в 20-ти верстах от нас; он хотел ночью обойти лагерь и напасть с тыла. Ночью, несколько часов после него, выступил губернатор со всем отрядом и направился к Малке, следуя тремя колоннами, на флангах и посреди которых находилась кавалерия. На заре, пройдя уже полпути, мы

услышали и увидели вдали (нас окружала степь) канонаду, открытую егерями, наступавшими под командой Фабрицына. Наша кавалерия поскакала вперед, и мы тоже спешили к Малке. Приблизившись, мы застали горячую перестрелку из пушек и мушкетов между нашими егерями и неприятелем; перестрелка эта продолжалась до 10 часов. Часть нашей кавалерии переправилась на тот берег и напала на отступавшего уже неприятеля, которого было здесь до 6000; она вместе с егерями привела горцев в совершенное расстройство. Отряд наш построился в каре на этом берегу Малки и не принимал никакого участия в деле; однако, устрашая неприятеля своею численностью, он, вероятно, ускорил его бегство. Мы сделали несколько выстрелов из пушек и стреляли несколько раз бомбами из гаубиц по неприятельской кавалерии, находившейся на противоположном берегу. Нам достался весь неприятельский лагерь, состоявший из 200 кибиток и пушки, которые были оставлены у Екатерининской крепости. Убито было около 500 кабардинцев, у нас около 20 человек и ранено вчетверо больше. Неприятель отступил к Баксану, за 30 верст отсюда, а мы, после полудня, вернулись в лагерь...»

Кабардинские князья, признав поражение, возместили нанесенный русским ущерб скотом и деньгами, а Малку торжественно объявили границей российских владений. Но остановить продвижение молодой и могучей империи на юг кабардинцы, разумеется, не могли.

Сам автор «Битвы» относит действие повести к началу XIX столетия, с ноября 1803 года на Кавказской линии начальствовал генерал-лейтенант Г.И. Глазенап. Военных событий, достойных име-

новаться столь громко, тогда на Северном Кавказе не происходило, но нападения горцев на казачьи посты и пикеты, стычки, перестрелки и набеги были тогда обычным явлением. В мае 1804 года разгорелось сражение на реке Баксан, где «кабардинцы были разбиты наголову», как пишет Потто. В марте 1805-го Глазенап предпринял новый успешный поход в Кабарду, отбил у кабардинцев многочисленные табуны и стада, но и на этот раз все события происходили на берегах Баксана, а не Терека, как в повести Зряхова. Впрочем, писателя можно понять: к документальной точности в описании военных действий он вовсе не стремился, а «седой Терек» в отличие от безвестных Баксана или Малки был к тому времени уже достаточно прославлен в русской поэзии.

Вскоре по высочайшему повелению учредили золотую медаль, которой было «награждено всего восемь офицеров казачьих полков, отличившихся в сражении 11 марта 1805 года против кабардинцев». Что касается персональной медали Победоносцева, имевшей даже описание его подвигов, то подобные факты награждения, хотя и крайне редко, но действительно случались. Так, в 1804 году особой золотой медали были удостоены всего двое казачьих старшин, причём на её оборотной стороне значилось следующее: «За храбрость, оказанную в сражении с персиянами 30 июня 1804 года, в коем с товарищами отбил 4 знамя и 4 фалконета».

Век зряховской «Битвы» оказался необыкновенно долгим. Пожалуй, это единственный образец лубочных произведений, дотянувший до наших дней. Само это слово – «лубочный» – применительно к литературе означает в наши дни

невысокую, пренебрежительную оценку. Название же повести давно вошло в разряд крылатых выражений и, как ведают словари, употребляется, «когда насмешливо говорится о ссоре, шуме и пр.» Ну что же, древние не зря считали, что книги имеют свою судьбу...

Смерть за любовь к человечеству

В науке нет широкой столбовой дороги, – изрек однажды философ. Это хорошо понимал немецкий натуралист на русской службе, академик Императорской Академии наук Самуил Готлиб Гмелин. Одно из его многотрудных кавказских путешествий имело трагический исход: в 1774 г. он был захвачен горцами и окончил свои дни в плену.

Приехав из Германии по приглашению российской Академии наук, Гмелин возглавил экспедицию по изучению областей, окружающих Каспийское море. В Астрахани он получил в свое распоряжение небольшое вооруженное судно, на котором совершил путешествия к восточным и западным берегам Каспия. Побывал профессор и в персидской области Гилян, потратив на все свои исследования около четырех лет.

В ноябре 1773 г., возвращаясь из вторичной поездки в Гилян, Гмелин решил проделать маршрут в Астрахань не по морю, а сухим путем, через Баку и Дербент. Обстоятельства этого путешествия, оказавшегося для профессора роковым, известны благодаря подробным записям, сохранившимся в его дневнике. По требованию Гмелина из Кизляра в Дербент заблаговременно был прислан казачий конвой из 20 человек во главе с офицером, а с ними и двое татарских мурз в качестве

переводчиков. Эта нелишняя предосторожность в данном случае оказалась напрасной: не спасли и казаки! В первых числах февраля 1874 г. небольшой отряд покинул Дербент и вскоре достиг границ Кайтаха – области, находившейся во владении уцмий (правителя) Эмира Гамзы. Уцмий пребывал в это время в своей зимней резиденции – селении Берекей.

Вежливо приняв поначалу чужеземного гостя, Эмир Гамза не устоял перед соблазном и решил не упускать выпавшую на его долю удачу. Недолго колебавшись, он задержал у себя и профессора и весь его довольно ценный багаж, а заодно и нескольких его спутников, участников экспедиции. Вскоре была объявлена и цена выкупа – 30 тысяч рублей. Выплатить такие большие деньги астраханские власти могли только с разрешения Петербурга. Началась долгая переписка, а между тем кизлярский комендант Штендер пытался каким-то образом выволить несчастного узника.

Вот что сообщает об этих событиях известный в прошлом кавказовед Е.Г. Вейденбаум: «Из официальной переписки видно, что Штендер употребил все доступные ему средства к освобождению пленника. Он грозил уцмью жестоким наказанием, старался подействовать на него чрез родственников Эмира Гамзы и различных влиятельных в Дагестане лиц, наконец, пытался освободить Гмелина хитростью. Но все эти способы не только не имели успеха, но, напротив, ухудшили положение пленника. Чем более стараний прилагал Штендер, тем более уцмий убеждался в том, что в руках его находится ценная добыча, и тем менее обнаруживал склонности к уступкам. Желая добиться скорейшего исполнения своих требований, он, по

принятому в горах обычаю, делал Гмелину разные притеснения, чтобы заставить его усерднее и настойчивее просить себе помощи».

Вероятно, в Берекее Гмелин пользовался еще относительной свободой: он подготовил отчет о последней поездке в Гилян, составил географическое и этнографическое описание Кайтаха и даже принимал местных жителей, нуждавшихся в медицинской помощи. Но вскоре ситуация заметно ухудшилась. Разлученный с женой, ждавшей его в Астрахани, и лишенный привычных ученых занятий тридцатилетний профессор начал терять присутствие духа. Последняя запись в его дневнике относится к 7 апреля. После этого у пленника отобрали перо и бумагу, а самого его под охраной увезли дальше в горы. Пробыв в неволе более пяти месяцев и, по-видимому, не питая уже надежды на освобождение, Гмелин надломился душой.

«Опасаясь похищения пленника, – продолжает Вейденбаум, – уцмий перевел его на жительство далее в горы, сначала в селение Мадфалис, а потом в Ахмет-Кент. Гмелин предался полностью отчаянию. Он впал в апатию, едва принимал пищу... По выражению состоявшего при нем студента академии Ивана Михайлова, «господин профессор был телом еще жив, а духом давно уже мертв был». Вскоре Гмелин слег в постель и после тяжких страданий скончался в сел. Ахмет-Кент вечером 27 июля 1774 года. Едва весть об этом разносилась по селению, как нукеры Эмира Гамзы разграбили последнее имущество, оставшееся после покойного. Мертвый Гмелин не имел никакой цены для уцмий...»

Нет худа без добра: смерть Гмелина принесла свободу его спутникам. Держать дальше в неволе

студента и рисовальщика (грош им обоим цена) смысла не было, и их отпустили восвояси. Погрузив тело профессора на арбу, вчерашние пленники повезли его в Кизляр, но и мертвому Гмелину достичь этой заветной цели не удалось. Из-за сильной жары его пришлось похоронить близ селения Каякент, у подножия небольшого холма. Место это со временем затерялось, и только в 1861 г. возвращавшийся из Персии академик Дорн разыскал его и отметил деревянным крестом.

Остается сказать, что в Петербурге в 1838 г. вышла в свет повесть Павла Каменского «Самуил Готлиб Гмелин», поведавшая миру о печальной участи нашего немца. Автор, правда, позволил себе изрядно пофантазировать на его счет и придал всей истории мелодраматический эффект. В этих целях он прибег к испытанному сюжетному ходу: заставил дочь уцмий влюбиться в пленного профессора. Испытав на себе гнев отца, Гмелин погибает в неволе, а горская красавица в отчаянии бросается в бурные воды реки Дарваха.

Несколько страниц в своей пятитомной «Кавказской войне» уделил Гмелину историк В.А. Потто. Когда известие о пленении ученого достигло Петербурга, то возмущенная Екатерина приказала генералу Медему, в то время начальствовавшему на Кавказской линии, разорить владения зловредного Гамзы. Глухой генерал (так горцы прозвали Медема, не слышавшего на одно ухо) выступил в поход в марте 1775 года и учинил в горах «страшный погром», надолго оставшийся в преданиях местных племен.

Вероятно, Потто видел и крест, установленный Дорном на могиле несчастного собрата. «Гмелин, конечно, заслуживает лучшего памятника, – пи-

сал историк. – Но величественно хорош и этот крест Спасителя здесь, вдали от христианского мира, среди мусульманских надгробий – лучший и верный символ страданий за любовь к человечеству».

Страшный сон госпожи Зенеиды

Лето 1837 года В.Г. Белинский провел на Кавказских водах. Как ни странно, самым приятным из всех пятигорских впечатлений для него осталось лицо одной молодой женщины, которую он иногда встречал на бульваре. На вид ей было года 22–23, появлялась она обычно в кругу семейства, и рядом с нею крутились две очаровательные дочурки. Знакомства с нею молодой критик не искал, но невольно выделял для себя эту женщину в многочисленной толпе «курсовых», как тогда называли приехавших на воды.

Невысокая, хрупкого сложения, с правильными чертами лица; темные волосы, зачесанные назад, открывают высокий лоб. Нет, совсем не красавица, но выразительный взгляд больших черных глаз придает всему облику вид возвышенный и романтический. Она годилась бы, пожалуй, в героини романа в новом стиле. В действительности же никакой героиней романа она не была, она сама их писала. Догадываться тогда об этом «неистовый Виссарион», разумеется, не мог и был бы поражен, скажи ему кто, что пройдет совсем немного лет и он будет отзываться о ней в своих статьях с полным восторгом и даже называть её лучшей из всех женщин, пишущих на русском языке. Звали её Елена Андреевна Ган.

Имя нашей героини до сих пор мелькает на

страницах газет и журналов, короткие заметки о ней появляются, как правило, под рубрикой «Забывтые имена», что не совсем справедливо, ибо ее повести выходят в свет и в наши дни. Родилась она в семье служивого дворянина, отец ее Андрей Михайлович Фадеев (кстати сказать, кишиневский знакомый А.С. Пушкина) впоследствии сделал приличную карьеру, имел чин тайного советника и занимал пост саратовского гражданского губернатора. Еще больше прославился младший брат Елены – Ростислав Андреевич Фадеев, генерал, военный писатель и яркий публицист. Его книга «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть?)» имелась в личной библиотеке Ф.М. Достоевского и внимательно им изучалась. А сестра Елены – Екатерина стала матерью знаменитого российского премьер-министра Сергея Юльевича Витте. Да и саму Елену господь талантами не обделил, что безусловно признавали такие великие умы, как В.Г. Белинский и И.С. Тургенев.

Она рано, 16 лет от роду, вышла замуж. Избранником ее стал капитан конной артиллерии Петр Алексеевич Ган, батарея которого беспрестанно кочевала по югу Украины. В 1836 году, когда мужа перевели в Петербург, там, в доме своей кузины Е.А. Сушковой, она познакомилась с Лермонтовым, а в картинной галерее случайно встретила и с Пушкиным. В это время она уже пробует писать. Ее первые литературные творения поддержал опытный журналист и издатель О.И. Сенковский, поместивший в одном из номеров «Библиотеки для чтения» ее первую повесть «Идеал». Долгое время Елена Ган была известна читающей публике под псевдонимом «Зенеида

Р-ва», которым были подписаны ее имевшие заметный успех повести «Суд света», «Напрасный дар», «Любонька» и другие. Муж Елены не разделял ее увлечения сочинительством, и отношения их быстро охладели. «Постоянные разъезды, болезни детей, – отмечает биограф, – материальные трудности, которые Ган пыталась преодолеть литературным трудом, подточили ее здоровье». Лето 1837 года писательница провела в Пятигорске, куда приехала вместе с детьми, сестрой Екатериной, матерью и отцом, служившим тогда в Астрахани.

Она впервые увидела Кавказ, прославленный в поэзии Пушкина, цепи снежных гор вдали, освещенные щедрым южным солнцем, а здесь, среди предгорий – новенький, чистенький городок, собравший со всех краев России пеструю толпу жаждущих исцеления. Ярких впечатлений было много, всё это давало пищу уму, и в пылком воображении уже начинал складываться сюжет новой повести, получившей название «Медальон» и опубликованной два года спустя в одном из столичных журналов.

Действие начинается летним утром, когда к пятигорской гостинице, известной под названием Ресторация, в щегольской коляске подъезжает князь Юрьевич, «молодой человек высокого роста, прекрасной наружности», сопровождающий в путешествии на воды своего большого дядю-старика. Вскоре нам становится известно, что князь долгое время жил за границей, промотал состояние и полгода назад вынужден был вернуться в Россию, где благоразумный дядюшка подыскал ему богатую невесту. Вскоре должна состояться и свадьба.

От своих приятелей Юрьевич узнаёт, что съезд посетителей на воды в этом году великолепен, а более других привлекает всеобщее внимание загадочная баронесса Энгельсберг, молодая и богатая вдова, к тому же красавица, приехавшая на Кавказ для излечения малолетнего сына. Загадка же заключается в том, что баронесса ведет образ жизни уединенный и даже успела получить прозвище прекрасной затворницы. «Она неприступна и холодна, как вершина Эльбруса», – говорит о ней один из героев.

Впрочем, с появлением здесь князя Юрьевича поведение баронессы неожиданно меняется, и она становится непременно участницей всех затей «водяного общества». Юрьевич поражен ее красотой, но его ухаживания не имеют видимого успеха. «И однако же князь не утратился и не оставлял намерения покорить сердце гордой красавицы; – сообщает нам автор, – привыкнув венчать малейшее желание успехом, он тем упрямее привязывался к своей цели, чем более представлялось трудностей к достижению ее».

Сюжет развивается своим чередом. Не известив князя, баронесса уезжает в Кисловодск, Юрьевич бросается за нею вдогонку; между героями происходит объяснение. Ради любви баронессы Юрьевич готов пожертвовать всем на свете, даже жизнью, не говоря уж о богатой невесте, которую он почти не знал. Баронесса признаётся князю в любви и принимает его предложение, но этим история отнюдь не кончается, и следует неожиданная развязка, объясняющая к тому же название повести.

Чтобы скрасить досуг, в кружке баронессы решают по очереди рассказывать интересные слу-

чай из жизни. Такой повествовательный прием (своего рода роман в романе) в литературе не нов, ближайшим примером тут может служить рассказ А.А. Бестужева-Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», где посетители кислых вод предаются точно такому же занятию, что и герои повести «Медальон».

Первый жребий выпал баронессе, и она обещала поведать тайну своего медальона, прикрепленного к браслету, который она всегда носила на запястье. Эта довольно долгая история, занимающая почти половину всей повести, была с заметным волнением прочитана баронессой по тетради. Она изложила действительные события, только взяла вымышленные имена. Речь там шла о соблазненной и покинутой девушке. От несчастья и пролитых слез она ослепла. Виновник же ее бед, некий князь Л***, беззаботно укатил в Париж с француженкой-актрисой.

Финал «Медальона» таков. Оказывается, что князь Л*** и Юрьевич – это одно и то же лицо, в медальоне же заключен портрет так жестоко обманутой им девушки, приходившейся баронессе Энгельсберг родной сестрой. Любовь баронессы к Юрьевичу – сплошное притворство с целью мести; раздосадованный и нравственно уничтоженный князь с проклятиями покидает ее дом...

Содержание и проблематика «Медальона», как видим, совершенно иные, чем в повести Лермонтова, хотя изображенная пятигорская обстановка, ряд описаний и сюжетных ходов невольно заставляют вспомнить страницы «Княжны Мери». Вот панорама местности, открывающаяся взору с высокой точки: «С одной стороны на скате Машука пестрел город Пятигорск; ниже, в глубине

долины, быстрый Подкумок, то разбрасываясь ручьями, то собирая воды свои в одно ложе, змеился и орошал луга и сады казацкой станицы... К востоку возносилась амфитеатром цепь снежных гор, начиная двуглавым Эльбрусом, который всех выше и величавее, стоял, будто предводительствуя сонмом исполинов, и резко оттенялся нежною белизной на темно-голубом небе... Прозрачные облака и тяжелые темно-сизые тучи, гуляя в этом туманном океане, развивались и свивались в самые причудливые формы... Один Бештау, подняв высоко пирамидальный хребет свой, стоял неподвижным посреди этого зыблющегося архипелага...»

Здесь и великолепное общество, проводящее время в пикниках и верховых прогулках. Правда, в отличие от героев «Княжны Мери» персонажи «Медальона» совершают свое путешествие не на Провал, а на вершину Машука. Здесь источники и ванны, и Эолова арфа, и пятигорский бульвар с его разноязычной толпой. А князь Юрьевич, подобно Печорину, сидит здесь с приятелем на скамье, отпуская злые шутки в адрес всех и каждого. И, наконец, завязка любовной истории, завершение которой происходит уже в Кисловодске. Причем завершение, которое, как и у Лермонтова, является вовсе не счастливым концом, а решительным разрывом отношений. Некоторые детали совпадают поразительно точно, например, драматическое объяснение героев и поцелуй во время верховой поездки близ Кисловодска.

Несколько строк в «Медальоне» уделено и любимой Лермонтовым с детских лет горе Бештау, ее название неоднократно мелькает на страницах повести. Приводится даже эпизод, связанный с

тремя восхождениями одного из героев на ее вершину: «Один из четырех путешественников, страстный любитель природы и виста, не являлся три вечера сряду к своей партии. Его считали уже в плену у горцев, как на четвертый день он вошел в общество с сияющим лицом и с новым запасом видов в своем портфеле. Вопросы посыпались со всех сторон, и наконец узнали, что он провел трое суток на казачьем посту, у подошвы Бештау, и всякий вечер взбирался на самую вершину, чтобы увидеть картину восходящего солнца над цепью снежных гор. Два утра солнце, будто дразня его, пряталось, как жеманная красавица, под флером облаков, на третье он добился желаемого, и теперь между всяким роббером сообщал свои восторги публике; его слушали, пожимая плечами; одни твердили, что он подвергал себя ревматизму, другие – что гораздо удобнее рассматривать восхождение солнца в живых картинах; очень немногие завидовали отваге путешественника; его восторг сильнее всего действовал на воображение женщин, склонное ко всему необыкновенному».

Трудно судить, сказалось ли здесь необыкновенное воображение самой Елены Ган или же в повести отразились реальные события, очевидцем которых она была в Пятигорске. Во всяком случае, всё изложенное выглядит вполне достоверно; подъем на вершину Бештау, пусть даже три дня подряд, не представляет значительных трудностей; о казаках на вышках упоминает и Лермонтов в «Княжне Мери», а один из районов города, подступающий к основанию Бештау, и по сей день носит название «Гора Пост».

По кавказским впечатлениям Елена Ган написала еще и рассказ «Воспоминания Желез-

новодска». Здесь также присутствует описание местности, так как по ходу сюжета героиня и ее спутники совершают верховые прогулки в окрестностях города. Сомневаться в том, что сама писательница побывала в Железноводске, оснований нет, но, видимо, время сгладило ее впечатления, и на сей раз ее описания расплывчаты и условны, они напоминают, скорее, рисованные театральные декорации, чем живую природу. Ган изображает «кавказские громады, увенчанные гранитным венцом», вблизи которых «журчат целебные источники горячей и студеной воды».

Событийная канва рассказа такова. Молодая женщина по имени Зенеида проводит свой курортный досуг, читая французские романы и путешествуя по предгорьям. В одной из дальних поездок героиня и ее провожатые, Владимир и Александр, подверглись нападению черкесов. Все трое захвачены в плен и уведены в горный аул, расположенный среди ущелий и снежных вершин. Предпочитая смерть плену, Зенеида готова броситься в пропасть, но ее попытка пресечена похитителем. В описании черкесов присутствуют такие выражения, как страшные рожи, хищники и варвары.

В ауле мужчин заковывают в цепи, а героиню помещают под замок в убогом сарае. Когда же представляется возможность побега, то на пути Зенеиды становится молодой черкесский князь. Выхватив у князя кинжал, она наносит себе удар в горло, рассчитывая смертью прервать свои страдания. Тут наступает неожиданная развязка: от страшного удара Зенеида вовсе не погибает, а только... просыпается и обретает себя в мирной обстановке, у себя дома на диване, с французской книжкой в руках. Нападение черкесов и плен –

всего лишь сон, мучительная грёза, причудливая игра задремавшего разума.

Всё это, разумеется, очень далеко от кавказской реальности тех лет, но автор, кажется, вовсе не претендует ни на какую реальность, а только демонстрирует нам занимательный литературный фокус, небольшую драматическую постановку, под стать тем декорациям, которые мы видели в самом начале.

Летом следующего, 1838 года Елена с матерью и детьми вновь побывала на водах. На этот раз в Пятигорске ее ждала встреча, оставившая в сердце глубокий след. Здесь она познакомилась с бывшим гвардейским офицером, пострадавшим по делу о 14 декабря. Звали его Сергей Иванович Кривцов. Родился он в 1802 году в Орловской губернии, в небогатой дворянской семье. Образование получил в московском университетском пансионе, а затем и за границей, в Швейцарии и Франции. Вернувшись в Россию, Сергей поступил на военную службу и в мае 1825 года состоял уже подпоручиком лейб-гвардии конной артиллерии. Дух республиканского свободомыслия, почерпнутый в Европе, побудил Сергея вступить в Северное тайное общество, но от участия в декабрьском мятеже судьба его отвела: в конце октября Кривцов уехал в трехмесячный отпуск к родным. Тем не менее, в январе 1826 года он был задержан в Воронеже и с фельдъегерем доставлен в столицу империи. В дальнейшем Сергей разделил участь многих своих товарищей-декабристов: заключение в Петропавловскую крепость, кандалы, допросы и – томительное ожидание приговора. Ему ставилось в вину то, что он «знал об умысле на цареубийство и принадлежал к тайному обществу с

знанием цели». Осужден он был по седьмому разряду, а именно к году каторжных работ с последующим поселением в Сибири. В 1831 году матери Сергея удалось вымолить монаршее снисхождение – перевод сына рядовым в действующие войска Кавказского корпуса. Отвагой и кровью здесь можно было выбить офицерский чин и получить надежду на возвращение к нормальной жизни. Современники не раз отмечали его храбрость в бою, неизменно веселый нрав и твердую веру в свою счастливую звезду.

Служить довелось в Абхазии с ее губительным тогда болотистым климатом, а потом и на Кавказской линии, участвуя в долгих экспедициях и бесконечных схватках с горцами за Кубанью. «Высокий ростом, плечистый, с черными кудрявыми волосами, с широким лицом и приплюснутым носом, он представлял собою тип чистой славянской расы, – писал о Сергее его боевой товарищ. – Умный в разговоре, приятный в обществе и храбрый в деле, он невольно обращал на себя внимание своих сослуживцев. В делах я имел случай несколько раз прикрывать егерями его два горных единорога, которыми он командовал и с которыми он всегда был впереди, а так как опасности, труды и лишения похода сближают людей, то я с ним сошелся и всегда находил отраду в приятной с ним беседе». После шести долгих лет на Кавказе, наглотавшись вдоволь порохового дыма, вымокнув в малярийных болотах и привыкнув к свисту черкесских пуль, только осенью 1837 года Сергей Кривцов был произведен в первый офицерский чин прапорщика. Лето следующего 1838 года ему довелось провести не в жарких стычках с горцами, а на горячих водах в Пятигорске.

Как и многие, он приехал сюда, чтобы поправить здоровье. Нашел здесь круг друзей-декабристов и гостеприимный дом князя В.С. Голицына, в котором «очень приятно», как сам отмечал в одном из писем, проводил вечера. По-видимому, в этом доме и произошло знакомство Сергея с Еленой, вызвавшей сначала его любопытство, а потом и глубокое восхищение. Любовь? Может быть, да. Об этом теперь трудно судить. Во всяком случае, если любовь, то возвышенную, трепетную, любовь взглядов, улыбок, несмелых намеков, о какой в наше время мы начали, увы, забывать...

Досуг на водах, как это описано у Лермонтова и самой Ган, составляли неспешные прогулки по бульвару, поездки верхом по живописным окрестностям и даже предрассветные путешествия на вершину Машука. По вечерам играли в карты, исполняли и слушали модные романсы, устраивали в зале Ресторации балы и концерты. Но мишурный блеск, суета и шум такой жизни были чужды им обоим. Елену и Сергея могло подтолкнуть друг к другу одиночество. Одиночество двух живых душ, равно ищущих дружеской опоры и поддержки. То, что трудно высказать словами вслух, гораздо легче излить на бумагу в письме, и общение Сергея и Елены еще долго продолжалось в переписке, уже после отъезда обоих с Кавказских вод.

Они мечтали встретиться вновь, но судьба навсегда развела их. Болезни, походная обстановка в воинской части мужа и напряженный писательский труд – всё это пагубно отразилось на здоровье Елены. «Мы, как каторжники со связанными руками, должны бежать туда, куда гонят... – писала она Сенковскому. – У меня две почти готовые повести, я надеялась, что успею исправить и по-

слать вам одну из них отсель, но мы здесь в такой тесноте, что и это письмо я пишу в палатке, в 4 часа утра, потому что позже начнется толкотня, шум и до вечера не думай ни за что приниматься».

Увы, дни ее были сочтены. Она умерла в Одессе в возрасте 28 лет, не успев завершить последней начатой повести, как осталась неоконченной и печальная повесть ее жизни. Дар писательницы унаследовали обе ее дочери – Елена Петровна Блаватская, знаменитая основательница теософского общества, и Вера Петровна Желиховская, автор рассказов и повестей для детей, оставившая интересные записки о матери. Произведения Елены Ган переводились на европейские языки; в дореволюционной России дважды выходило собрание ее сочинений. Белинский, высоко оценивший ее творчество, писал в пространной рецензии, вышедшей вскоре после ее кончины: «Мир праху твоему, необыкновенная женщина, жертва богатых даров своей возвышенной натуры. Благодарим тебя за краткую жизнь твою, недаром и не втуне цвела она пышным, благоуханным цветом глубоких чувств и высоких мыслей... В этом цвете – твоя душа, и не будет ей смерти, и будет жива она для всякого, кто захочет насладиться ее ароматом...»

**«Он ранен был в бою у леса...»
Об одном стихотворении, приписанном
М.Ю. Лермонтову**

Отправляясь в 1858 году в Россию, знаменитый французский романист Александр Дюма обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» под-

вести их к «скале, к которой был прикован Прометей», и «посетить стан Шамиля, этого другого титана, который в своих горах борется против русских царей». Популярность Дюма в России была невероятной. Его встречали так, что в одном из писем той поры писатель сравнивал великолепное русское гостеприимство с золотыми рудниками Урала. Даже императорский фарфоровый завод выпускал изящные фигурки, изображавшие персонажей романа «Три мушкетера».

Особый интерес вызывал роман Дюма о России – «Записки учителя фехтования», где речь шла о восстании декабристов, и книга, разумеется, находилась под строгим запретом. Княгиня Трубецкая передает следующий эпизод: однажды, когда они с императрицей с увлечением склонились над страницами романа, чтение было прервано неожиданным появлением Николая I. Княгиня Трубецкая быстро спрятала книгу под подушку, но движение не ускользнуло от глаз царя.

«Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил:

– Вы читали?

– Да, государь.

– Хотите, я вам скажу, что вы читали?

Императрица молчала.

– Вы читали роман Дюма «Записки учителя фехтования».

– Каким образом вы знаете это, государь?

– Ну, вот! Об этом нетрудно догадаться. Это последний роман, который я запретил».

Российская столица встретила писателя как самого дорогого гостя. «Петербург принял г. Дюма с полным русским радушием и гостеприимством...

да и как же могло быть иначе? – писал в «Петербургской жизни» И.И. Панаев. – Господин Дюма пользуется в России такую же популярность, как и во всем мире между любителями легкого чтения, а легкие чтецы составляют большинство в человечестве...»

Вернувшись во Францию, Дюма выпустил семь томов путевых впечатлений – «В России» и «Кавказ». Однако обещания, данного своим читателям, писатель не сдержал: о встрече с Шамилем там нет ни строчки. Впрочем, и образ грозного имама, и ряд драматических эпизодов Кавказской войны отразились на страницах этих книг, представляющих собой увлекательное повествование, полное приключений, встреч, исторических экскурсов, легенд и разнообразных сведений, иногда достоверных, иногда – рожденных смелой фантазией французского романиста.

Из Петербурга Дюма направился в Москву, а оттуда через Нижний Новгород по Волге в Астрахань и дальше – в Кизляр, которому он посвятил первую главу своего «Кавказа». Преодолеть бескрайние российские просторы было не просто, но, обладая метким взглядом и острым умом, Дюма очень скоро уяснил себе, что «в России всё зависит от чина». А потому, отправляясь в путешествие, постарался придать себе генеральский вид: облачился в форменный костюм русского ополченца и, не имея российских наград, украсил свой мундир испанской звездой Карла III. Расчёт писателя вполне оправдался и обеспечил ему беспрекословное содействие местных властей: повсюду в провинции его именовали не иначе как «ваше высокопревосходительство», принимая за французского генерала, и он успешно справлял-

сы с этой ролью, выучив несколько самых необходимых русских слов. Принимая рапорт, коротко кивал: «Хорошо», а полагавшийся ему вооружённый конвой бодро приветствовал, привстав в тарантасе: «Здорово, ребята!»

Путевым заметкам предшествует вступление – довольно пространный очерк кавказской истории, от Прометея до Шамиля, причем здесь переданы подробности событий, без которых французскому читателю была бы не ясна ситуация на Кавказе. Поездка Дюма проходила осенью 1858 года, когда исход долгой борьбы был уже предрешен, и кольцо русской осады постепенно сжималось вокруг имама. «Шамиля окружают и стесняют все более и более, надеясь, что он будет задушен в каком-нибудь узком ущелье. По прибытии в Хасав-Юрт мы находились в полумиле от его аванпостов и в пяти милях от его резиденции», – как видим, прогноз Дюма не слишком расходится с тем стратегическим планом, какой избрало русское командование на Кавказе: в августе 1859 года последнее горное гнездо Шамиля, неприступный Гуниб, было блокировано войсками. И с первыми попытками штурма имам, после мучительных колебаний, сдался наместнику Кавказа князю Барятинскому.

Пока Дюма проводил время в переездах и беседах, во Франции распространились слухи о его смерти. Сам писатель узнал об этом из номера «Петербургских ведомостей» и, чтобы развеять их, послал из Баку подробное письмо о своих делах на Кавказе поэту и романисту Жозефу Мери. Со свойственным ему остроумием Дюма сообщает, что «не так глуп, чтобы расстаться с жизнью столь преждевременно».

Русская пресса не обошла вниманием визит знаменитого романиста, не упуская случая дать волю иронии. В 1858 году в Петербурге вышел в свет альбом карикатур Н. Степанова «Знакомые», в котором несколько рисунков были посвящены путешествию Дюма по России. Есть сюжет, обыгрывающий неосторожное обещание писателя встретиться с Шамилем. Дюма крепко держит за одежду отбивающегося от него Шамиля, а тот молит о пощаде: «М-г Дюма, оставьте меня в покое, я спешу отразить нападение русских». Но Дюма до этого нет дела, он отвечает: «Об этой бездельнице можно подумать после, а теперь мне нужно серьезно переговорить с вами: я приехал сюда, чтобы написать ваши записки в 25 томах и желаю сейчас же приступить к делу».

Вернувшись во Францию, Дюма выпустил три тома путевых записок под общим названием «Кавказ». В главе, названной «Цитаты», писатель поместил несколько понравившихся ему стихотворений Лермонтова в своих переводах. Все они хорошо известны русскому читателю в оригинале. Все, кроме одного – стихотворения «Раненый».

Это не могло быть случайностью или ошибкой. Дюма был отлично осведомлен о русских литературных делах. В Дербенте он интересовался судьбой опального декабриста и писателя Александра Бестужева-Марлинского, некогда отбывавшего здесь годы подневольной солдатчины, а потом во Франции выпустил увлекательный роман «Султанетта», представлявший собой перевод-переделку повести Бестужева «Аммалат-Бек».

Что касается Лермонтова, то еще в 1855 году в журнале Дюма «Мушкетер» печатался перевод «Героя нашего времени», а в России в его рас-

поряжении оказался прекрасный очерк жизни и творчества русского поэта, присланный ему Евдокией Ростопчиной. С Додо, как звали ее друзья, Лермонтов был знаком с юности. Посвящал ей стихи. Ее имя он упомянул в последнем письме из Пятигорска к бабушке своей Е.А. Арсеньевой: «Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас же по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск...» Они особенно сблизились в последние годы, и вряд ли кто-то еще из друзей поэта мог бы нарисовать столь живой и психологически достоверный его портрет.

Послание Ростопчиной с рассказом о Лермонтове Дюма полностью поместил в своей книге, посвятив ему отдельную главу – «Письмо». В ее записках есть одна деталь, отчасти объясняющая, почему Дюма перевел и напечатал «Раненого», без колебаний приняв его за лермонтовский шедевр.

Ростопчина сообщает о поэте, что, находясь на Кавказе, «каждый раз только он оканчивал, пересматривал и исправлял тетрадь своих стихотворений, он посылал ее к своим друзьям в Санкт-Петербург. Эта пересылка была причиной того, что мы должны оплакивать потерю некоторых из его лучших сочинений. Тифлисский курьер, часто преследуемый чеченцами или кабардинцами, подвергаясь опасности упасть в поток или в пропасть, переправляясь вброд, где иногда для спасения самого себя он бросает вверенные ему пакеты, утратил две или три таких тетради Лермонтова. В частности, это случилось с последней, которую Лермонтов послал было к своему издателю, но она затерялась, и у нас остались только наброски стихотворений, содержащихся в этой тетради».

Всего в книге Дюма приводится восемь его переводов лермонтовских стихотворений («Дары Терека», «Дума», «Спор» и другие) и сверх того еще одно – «Le blesse» («Раненый»), публикацию которого знаменитый романист предварил особым замечанием: «Мы выписали из одного альбома стихотворение, которого нет в собрании сочинений Лермонтова...» И это отсутствие Дюма объяснил, ссылаясь на слова Ростопчиной о потерянной тетради: «...возможно, оно составляло часть той, последней посылки, которую потерял курьер».

Предполагают, что этот рукописный альбом мог принадлежать Ростопчиной. И действительно, уезжая на Кавказ, Лермонтов подарил ей альбом и вписал туда посвященное ей стихотворение:

Я верю: под одной звездой
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны...

Но этот альбом до нас не дошел. Другого же альбома, откуда Дюма мог выписать «Раненого», да и вообще русского оригинала этого стихотворения тоже никому обнаружить не удалось. Какие же есть основания считать не известный нам исходный русский текст лермонтовским?

Первый биограф поэта П.А. Висковатый, редактируя первое полное собрание его сочинений (1889 г.), поместил стихотворение (во французском переводе Дюма) в разделе приложений и сделал осторожное предположение:

«Между стихотворениями нашего поэта мы такого не знаем, и откуда мог его получить Дюма нам

неизвестно. Характер стихотворения, пожалуй, и подходит к поэзии Лермонтова, и мы думаем, не есть ли этот перевод только весьма вольное подражание стихотворению Лермонтова «Завещание».

Самое интересное, что Висковатый предлагал свой стихотворный (обратный!) перевод с французского:

Как зверь подстреленный, у леса он лежал...
Вокруг безмолвная природа.
Сочилась кровь – он тихо умирал
Без ласки теплой и ухода.
А думы в даль летят – минуты сочтены;
И в нем сильней тоска и муки –
Он знает, что забыт, хоть ею полны сны,
Хоть к ней простер хладеющие руки.

Высказывалось и прямо противоположное мнение, и высказал его глубокий и тонкий исследователь – Б.М. Эйхенбаум. В комментариях к полному собранию сочинений Лермонтова, выпущенному издательством «Academia» в 1936 году, он пишет, что «предположение Висковатова неправдоподобно: стихотворение, приведенное у Дюма, не имеет ничего общего с “Завещанием”».

Там же дается подстрочный перевод французского текста:

«Видите ли вы этого раненого, который в судорогах лежит на земле? Он умрет здесь, у пустынного леса, и никто не облегчит его страданий; но кровь из его раны сочится с удвоенной силой и боль сердца особенно жестока потому, что, погружаясь в воспоминания, он знает, что забыт».

На этом история «Раненого» не кончается: нам известны ещё, по крайней мере, два интересных

перевода этого стихотворения на русский язык. Но об этом несколько ниже. А теперь попробуем ответить на главный вопрос: есть ли основания считать исходный текст лермонтовским?

Рассмотрим три мотива, характерных для Лермонтова и отчётливо присутствующих в тексте «Раненого».

Время и место. В стихотворении «Раненый» не обозначены конкретные признаки времени и места, у Лермонтова же там, где стихотворный сюжет разворачивается в реальном внешнем пространстве, оно всегда имеет чёткие топографические ориентиры. Действие, как правило, и начинается с обозначения обстоятельств времени и места:

Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул...
(Аул Бастунджи.1833–1834)

В полдневный жар в долине Дагестана...
(Сон.1841)

Особенно характерно в этом отношении стихотворение «Валерик»: автор-рассказчик, едва начав повествование о боевых действиях, прерывает себя, чтобы обозначить место событий:

Раз – это было под Гихами –
Мы проходили темный лес...

Поэту нет дела, что его читатель никогда до этого не слышал и никогда больше не услышит название горского селения Гехи, он навсегда вписывает его в свой текст, имея в виду какую-то понятную только ему художественную цель.

Определение времени и места события сопровождается у Лермонтова и другими уточняющими приметам внешнего мира, из которых можно выделить столь любимые им, художником, цветовые признаки. Здесь и «чета белеющих берез», и старинная башня, что стоит «чернея на черной скале» там, «в глубокой теснине», «во мгле», где вообще, кажется, никакой цвет различить нельзя. Для краткости обратимся лишь к одному кавказскому батальному стихотворению – «Я к вам пишу...» («Валерик»):

Кругом белеются палатки...
Люблю я цвет их желтых лиц...
...один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит...
Сейчас, смотрите: в шапке черной...
Мы проходили темный лес...
...пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес...
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами...
...мутная волна
Была тепла, была красна...
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом...
(Валерик.1840)

Представлен почти весь спектр, только вместо голубого – лазурно-яркий и не хватает экзотических оранжевого и фиолетового, отсутствие которых понятно и восполняется замечательным набором: белый, чёрный, светло-серый, тёмный.

Объёмы «Валерика» и «Раненого» несравнимы, но сопоставление их всё же показательно в том смысле, что «Раненый» для Лермонтова слишком беден и бледен.

Ранение. Рана. Кровь. Весьма характерный для Лермонтова мотив, однако реализуемый у него несколько иначе, нежели в переводном тексте Дюма: описание ранения, если и не детальное, то всегда имеющее ряд уточняющих указаний:

С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя...
(Сон.1841)

Скажи им, что навyleт в грудь
Я пульей ранен был...
(Завещание.1840)

...Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась...
(Валерик.1840)

То же и в прозе. Рассмотрим три самых известных трагических эпизода из трёх частей «Героя нашего времени»: смерть Бэлы, смерть Грушницкого и смерть Вулича.

Казбич поразил Бэлу ударом кинжала. Об этом мы узнаем со слов Максима Максимыча: «Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил – ну, так уж и быть, одним разом всё бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар!»

О Грушницком Вернер сообщает в записке Печорину, что «тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута».

Вулича казак ударил «шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца».

В «Раненом» ничего подобного нет.

Одиночество, забвение и душевные муки, связанные с ними. Здесь само собой напрашивается сравнение «Раненого» с лермонтовским «Сном», ибо не вызывает сомнений сходство внешней ситуации, нарисованной в том и другом стихотворении: некто, раненый и забытый, находится в пустынной местности, испытывая физические и душевные муки.

Но «Раненый» этой ситуацией исчерпан до дна – весьма неглубокого, как в смысле поэтических средств, так и в смысле психологизма. Чем же принципиально отличен от него «Сон»?

В восьми первых строках Лермонтов создает ту же исходную ситуацию – создает сильными, яркими ударами кисти, и поразительная жадность к подробностям бытия, пожалуй, даже подводит его, ибо герой «Сна» успевает подметить и почувствовать слишком много (даже противоречиво много) для смертельно раненого человека: место и время события, причём время с точностью до часа – полдень; природные условия в текущий момент («жар», «солнце жгло»); рельеф и цвет окружающего горного ландшафта («уступы скал», «жёлтые вершины»); характер грунта («на песке»).

О себе герой сообщает, что ранен пулей в грудь, причём пуля не прошла навывлет; что рана глубокая и дымящаяся, кровотечение из нее незначительное («кровь точилась») и он успевает по-

чувствовать каждую потерянную ее каплю; что следствием ранения явилось тяжелое бессознательное состояние («лежал недвижим», «спал я мертвым сном»).

Но самое главное, впрочем, даже не это. Если в «Раненом» изображённая ситуация представляет собой конечную художественную цель, то для «Сна» это всего лишь исходный момент, за которым происходят главные события сюжета. Причём – и это принципиально важно – действие теперь устремляется в иные сферы, весьма удаленные по обстоятельствам времени и места от исходных.

Для Лермонтова это весьма характерный приём построения лирического сюжета: рисуя то, что реально присутствует перед нами, он переходит к изображению того, что реально отсутствует и что составляет, собственно, художественную цель его медитативной лирики. И именно это разнит исследуемые тексты так глубоко, что не оставляет, кажется, сомнений в принадлежности их, если не разным авторам, то, во всяком случае, разным способам поэтического мышления.

«Раненого» больше не включают в собрания сочинений Лермонтова. Но такова, видимо, магия поэзии, что, соприкоснувшись однажды с великими именами, это стихотворение продолжает жить своей особой судьбой. Записки Дюма на русском языке выходили дважды: в 1861 году в Тифлисе и там же в 1988-м, когда издательство «Мерани» выпустило прекрасно иллюстрированную книгу с дополненным переводом и необходимыми комментариями. Подготовил эту книгу М.И. Буянов, предложивший ещё один перевод «Раненого»:

Узрели ль вы несчастного,
Что в корчах пал на землю
Пред лесом опустевшим?
Никто не облегчит его печали,
А кровь сочится из больного сердца.
И он ушел в свои воспоминанья,
Поняв, что всеми позабыт давно.

В 1989 году московский поэт Ал. Бакалеев выполнил вольный стихотворный перевод с французского, который мы предлагаем суду читателя:

Он ранен был в бою у леса
Шальнойю пулею черкеса.
Прошла навывлет в левый бок,
Судил ему так русский бог.
Земля чужая кровь впитает,
И смерть над ним уже витает.
Но что страшнее смертной муки,
Никто к нему не тянет руки.
Нет, он не пулею убит,
А тем, что здесь один забыт.

Кто знает, не найдется ли тот рукописный альбом, в котором автор «Трёх мушкетёров» впервые увидел эти стихи? В истории «Раненого» есть ещё не прочитанные страницы...

Война и свобода

Трагическая история Хаджи-Мурата многим знакома по знаменитой повести Льва Толстого. Даровитый, сильный и безмерно храбрый человек, волею обстоятельств вовлеченный в огненный ураган Кавказской войны, Хаджи-Мурат по-

гиб при отчаянной попытке эти обстоятельства преодолеть. «Было бы чересчур длинно, – писал о нем наместник Кавказа князь М.С. Воронцов, – входить во все подробности удивительного характера этого человека. Он был обоюдоострый меч и мог причинить нам много хлопот, потому что его честолюбие равнялось только его храбрости, а храбрость его не знала пределов».

Родина Хаджи-Мурата – Авария, с правителями которой, аварскими ханами, он был связан молочным родством. В 1834 году предшественник Шамиля имам Гамзат-бек во главе огромного ополчения своих сторонников, мюридов, осадил Хунзах, столицу Аварии, с целью принудить ханов к союзу против русских. Выманив в свой лагерь старших сыновей ханши Паху-бике, он приказал их убить. Вспыхнула яростная схватка, в которой Абунунцал-хан и Умма-хан погибли. На следующий день Гамзат-бек вошел в Хунзах и казнил ханшу, предрешив тем самым и свой скорый конец. Хунзахцы, возмущенные расправой над ханами, не смирились с властью пришлых мюридов. Через полтора месяца в мечети Хунзаха Гамзат был застрелен заговорщиками в числе которых находились Хаджи-Мурат и его старший брат Осман. Пользуясь громадной популярностью в народе и удерживая Авария от влияния Шамиля, он мог бы стать важным союзником для русских. Но по клеветническому доносу Хаджи-Мурат был арестован и под усиленной охраной отправлен в крепость Темир-Хан-Шуру (ныне город Буйнакск). На горной дороге Хаджи-Мурату удалось бежать: улучив момент, он бросился вниз с крутого откоса, увлекая за собою конвойных. При падении солдаты разбились насмерть,

а пленник исчез в глубине пропасти. Искать его сочли бесполезным, так как в гибели Хаджи-Мурата не было сомнений. Судьба же на этот раз пощадила его: он остался на всю жизнь хромым, но тогда, передвигаясь ползком, сумел укрыться у пастухов. Так, недальновидно оттолкнув от себя, военные власти сами направили Хаджи-Мурата в стан Шамиля, сделавшего его своим наибом (то есть наместником). Пламя газавата, священной войны с неверными, стало разгораться с новой силой. «В ряду шамилевских наибов, – читаем в исторической хронике, – первое место по своей предприимчивости, отваге и военным талантам бесспорно принадлежало Хаджи-Мурату, имя которого двенадцать лет гремело по всему Восточному Кавказу».

Более всего Хаджи-Мурат прославился дерзкими внезапными набегами, скрытно проникая глубоко в русские тылы и нанося неожиданный, молниеносный удар. Результатом таких нападений обычно являлась богатая добыча. «Присутствием войск, – замечает историк, – Хаджи-Мурат никогда не стеснялся». Громкую известность получил налет Хаджи-Мурата в апреле 1849 года на главную русскую крепость в Дагестане – Темир-Хан-Шуру. Едва ли он рассчитывал захватить город с многочисленным гарнизоном, но переполох поднял большой. Заметавшись на незнакомых улицах, мюриды кинулись к освещенному зданию, приняв госпиталь за дом командира Апшеронского полка князя Григория Орбелиани. Если бы не эта ошибка, последствия могли быть куда серьезней. На выручку раненым подоспели поднятые по тревоге солдаты, и ночная атака была отбита.

Внутренние раздоры в стане Шамиля привели к тому, что Хаджи-Мурат, лишившись звания найба, повернул оружие против своего бывшего владыки. В конце 1851 года он вынужден был выйти в распоряжение русских войск и предать себя власти кавказского наместника князя М.С. Воронцова. Формально он не был пленником, но его положение трудно назвать свободным: и сам Хаджи-Мурат, и его нукеры находились под постоянным и бдительным контролем. Воронцов, несомненно, испытывал колебания в вопросе о том, как именно поступить с неукротимым горцем, и даже советовался со своими подчиненными, например, с начальником Шушинского уезда князем Тархановым о том, не следовало ли «заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами, потому что уж раз обращаться с ним худо – его не легко стеречь...»

К этому периоду относится первое упоминание его имени Львом Толстым, начинавшим военную службу на Кавказе. В декабре 1851 года он писал брату Сергею из Тифлиса: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях предался русскому правительству. Это был первый лихач и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».

Впоследствии, узнав достоверные обстоятельства жизни и смерти Хаджи-Мурата, Толстой не только переменял свое мнение об этом человеке, но и сделал его главным героем повести, к работе над которой обращался на протяжении нескольких лет. Начав с короткой дневниковой записи, он постоянно углублял и дополнял свой замысел,

пока не пришел к масштабности широкого исторического полотна, послужившего, в сущности, его творческим финалом, его литературным заветанием. Рисуя образ Хаджи-Мурата в скупых и сдержанных тонах, Толстой, тем не менее, сумел передать читателю то горячее сочувствие, которое сам испытывал к своему герою. Трагическая, но не сломленная фигура горца стала для писателя примером жизненной стойкости и борьбы до самого конца. «Так и надо! Так и надо!» – часто повторял он себе. В повести отразился и взгляд Толстого на долгую и беспримерную по перенесенным тяготам и принесенным жертвам Кавказскую войну. В черновиках «Хаджи-Мурата» есть такая запись: «Успех горцев надо приписать тому, что русские баловались войной, поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийства и иметь случаи раздавать и получать кресты и награды».

Работая над повестью, Толстой использовал десятки документальных, мемуарных и литературных источников. Пространные очерки о Хаджи-Мурате есть, например, у военных историков А.Л. Зиссермана и В.А. Потто. Рассказ «Кавказский герой» посвятил ему известный писатель Д.Л. Мордовцев.

Судьба и гибель Хаджи-Мурата породили немало загадок, на которые до сих пор нет ответа. Выдвигалось даже предположение, что его бегство от Шамиля к русским, а потом обратно в горы было лишь тщательно подготовленной вылазкой в целях военной разведки. «Смерть Хаджи-Мурата, – писал военный историк А. Зиссерман, – Остатки навсегда неразгаданным невольный вопрос:

было ли его бегство к нам и обратно хитро придуманною, с ведома Шамиля, комбинацією ради осмотра со всех сторон местных условий, обороны, расположения войск, настроения покорного населения и т. п., в видах действий против нас; было ли это его единичною затеею, чтобы таким рискованным шагом смирить гнев имама и вновь войти в милость, получить прежнее значение в горах и проч., или же бежал он, искренно решившись перейти на нашу сторону...»

М.С. Воронцов в письме к военному министру А.И. Чернышеву приводит некоторые подробности последнего боя Хаджи-Мурата, который «умер отчаянным храбрецом, каковым и жил; оставив своих лошадей, он спрятался в какую-то яму, которую укреплял с товарищами, копая землю руками; он отвечал ругательствами на предложение сдаться; на его глазах умерли двое его товарищей, и он сам, раненый четырьмя пулями, слабый и истекающий кровью, в отчаянии бросился на атакующих...»

У поверженного героя отсекали голову и, с позволения наместника, выставили для осмотра в тифлисском военном госпитале. Позднее череп Хаджи-Мурата переслали в военно-медицинскую академию в Петербург, откуда он, уже в советское время, попал в Кунсткамеру. Тело Хаджи-Мурата захоронено в Азербайджане в селении Закаталы, где проживают аварцы. Общественность и ученые Дагестана неоднократно ставили вопрос о возвращении черепа национального героя и захоронении его на родовом кладбище в ауле Хунзах. По сведениям еженедельника «Аргументы и факты», депутат Государственной Думы Надиршах Хачилаев обращался в Министерство культуры

Российской Федерации и получил закономерный в данном случае ответ, что музейные коллекции Кунсткамеры отчуждению не подлежат. Вопрос попал даже на рассмотрение руководства Российской Академии Наук, в ведении которой находится этот музей, но ответа нет, кажется, и по сей день.

Свобода всегда была для горцев высшим идеалом, и защищать ее всегда приходилось с оружием в руках. Неслучайно Толстой, покидая Кавказ, сделал запись в дневнике о том, что «хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода...»

ЗОЛОТЫЕ КЛАДЫ СТАВРОПОЛЬЯ

Земля нашего края таит в себе немало археологических тайн, среди которых самая интригующая – конечно, древние клады. Предания о кладах приобретали всегда причудливые и порой даже мистические оттенки. «На Ставрополье, – подчеркивает эту особенность нашего фольклора журналист Наталья Корниенко, – почти в каждом населенном пункте есть местные легенды о кладах. Например, в Георгиевском районе считают, что один из курганов скрывает золотую тачанку. Почему тачанка? Непонятно. А в Буденновске на дне реки Буйволы лежит золотая карета Чингисхана. Все это из области мифов. К моменту покорения этих земель на Северном Кавказе его уже в живых не было. И таких легенд масса. Возможно, кто-то когда-нибудь и нашел какую-нибудь ценность, а потом уже и пошли слухи...»

С незапамятных времен истории о подобных редких находках обрастали самыми невероятными подробностями, часто превращаясь в волшебные баснословия. Сказания о кладах на протяжении столетий перехо-



РОМАН
НУТРИХИН

Краеведение



дили из уст в уста. Ими интересовались не только заядлые кладоискатели и впечатлительная детвора, но и вполне себе серьезные историки. «По древним дорогам Предкавказья, – отмечал Герман Беликов, – прошли многие народы, оставив после себя большие и малые, уцелевшие и разрушенные памятники истории и культуры. Среди них особое место занимают клады, ставшие для нас своеобразной летописью прошлого этого края, на благодатной земле которого и вырос город Ставрополь».

Древнейшие клады Ставрополья, по мнению Беликова, относятся к скифской эпохе: «Так, при строительстве Большого Ставропольского канала у села Александровского археологами был вскрыт царский скифский курган. В древности уже ограбленный, он все же порадовал исследователей искусно запрятанными сокровищами. Были там золотые обкладки жертвенных сосудов, серебряные четырехконечные звезды с изображением богини Иштырь, украшения в виде головок-грифонов... Можно только предположить о первоначальном богатстве этого и других скифских курганов, десятки которых находились в черте самого Ставрополя и его окрестностях».

И все же больше всего шума в свое время произвели не богатства скифов, а эпохальный золотой клад, что зарыли здесь сарматские племена, пришедшие скифам на смену...

5-го апреля 1910 года в селении Казинском Александровского уезда крестьянин Алейников раскопал на своем поле большой глиняный сосуд, в котором обнаружил древние украшения – девятнадцать предметов общим весом около пуда – то есть без малого шестнадцать килограммов чистого золота! Браслеты с литыми рельефными львами, конями и драконами, гнутые золотые стержни и чашеобразные ювелирные заготовки. находку датировали III веком

до н. э. Как позже удалось выяснить, это сокровище более двух тысяч лет назад было оставлено в нашей земле гордыми и воинственными сарматами.

Тогда же в прессу просочились пусть и не до конца точные, но все же вполне правдивые слухи об этой сенсационной находке. На протяжении всего 1910 года о ней писали многие местные, столичные и даже иностранные периодические издания. Одной из первых о кладе поведала здешняя «Северокавказская газета», напечатавшая о нем заметку всего неделю спустя после находки, 13-го апреля: «В селе Казинском, Ставропольской губернии, Александровского уезда, крестьянин Алейников 5-го апреля открыл древние золотые вещи, между которыми имеются золотые колонки, отлитые в форме змеи, золотые спиральные обручи, золотой кубок и другие весом до двух пудов приблизительно. На место выезжает для производства археологических раскопок председатель Ставропольской Ученой Архивной Комиссии Григорий Николаевич Прозрителев».

В июне «Московские Ведомости» опубликовали уже исчерпывающее описание этой притягательной загадки: «В Императорскую Археологическую Комиссию недавно поступил интересный клад, найденный 5-го апреля близ города Ставрополя (Кавказского), в селе Казинском, крестьянином Алейниковым на огороде. Клад этот отчасти уже успел разойтись по рукам, но, по телеграмме Комиссии (случайно о нем узнавшей) к местному губернатору, его успели разыскать (по-видимому, вполне) и доставить в Петербург. Клад состоит из золотых вещей в количестве около пуда (без нескольких золотников). Одного золота в нем на 22 тысячи с лишком рублей. Вещи клада состоят из массивных шейных обручей (гривен), то есть неполных колец, с головками драконов и баранов на концах,

довольно грубой работы, из наручников или длинных и завитых спиралью в несколько оборотов, из толстой проволоки, браслетов и нескольких полуманнх вещей. Судя по работе, вещи эти относятся к довольно поздней эпохе, начала средних веков. Насколько известно, золотых кладов такой стоимости (по весу) до сих пор еще у нас не находили. Любопытно, что прежний владелец огорода в течение около тридцати лет не догадывался о существовании такого клада в его владении, и только новый владелец, приобретший эту землю с год тому назад, случайно при раскопке земли наткнулся на него и приобрел себе тем целое состояние. Клад поступит в Императорский Эрмитаж».

Удивительнее всего то, что местная молва сразу же приписала происхождение этого клада едва ли не самому Александру Македонскому! Девятнадцать найденных предметов были обращены ею в сплошной золотой монолит – то ли шлем, то ли щит легендарного античного героя. 21-го ноября популярная газета «Русское Слово» напечатала такое сообщение, присланное в редакцию из Пятигорска: «Вблизи селения Казинки, Александровского уезда Ставропольской губернии, на поле был выпахан сохой золотой шлем. Редкую находку отправили в Петербург, где признали, что шлем этот – эпохи Александра Македонского и оценили его по весу золота в 38'000 рублей. В настоящее время из-за находки идет спор между арендатором и владельцем земли».

Действительно, после открытия клада объявился бывший собственник земельного участка, который, на свою беду, буквально накануне передал Алейникову купчую на этот надел «под огороды». Незадачливый делец затеял судебную тяжбу. Он утверждал, что продажа земли не должна была повлечь перехода прав на зарытый в ней клад, которым продавец

ранее владел, сам того не подозревая. И хотя претензия была явно неосновательна, кто знает, чем бы кончилось это дело при рассмотрении в провинциальных судах, да еще и с такими деньгами на кону...

В начале декабря упомянутая столичная газета поведала новые подробности этой кавказской сенсации: «Я уже сообщал, – писал пятигорский корреспондент «Русского Слова», – о редкой находке в Ставропольской губернии золотого шлема времен Александра Македонского. Владельцем земли, где найден шлем, оказался городской пятигорской полиции Ситак, передавший дело поверенному, который требует назначения конкурса для определения ценности находки и надеется получить три миллиона (!)».

Еще обстоятельнее данное археологическое открытие освещала местная «Северокавказская газета»: «Мы уже сообщали о том, что в Александровском уезде, в юрте селения Казинки, во время распашки поля найден золотой щит времен Александра Македонского. Этот щит, как говорят, оценен в Петербурге в 38'000 руб. Нашел щит крестьянин Алейников, арендовавший землю у городского Ситака. Последний в настоящее время служит при пятигорской полиции в должности старшего городского. Между Ситаком и Алейниковым возникло судебное дело. Поверенным интересов Ситака является пристав-поверенный Захарьин, который говорит, что за редкую находку должны заплатить не 38'000 руб., а во много раз дороже. Ситак сообщил, что самой находки он не видел, так как она была отправлена в Петербург до его приезда, а имеет лишь подробную опись ее. Золотой щит найден в поле под большим курганом. Этот курган распаивался дедом и отцом Ситака в течение более сорока лет. Сначала он был большой, но со временем от распашки, от выветривания сделался значительно меньше. Ситак

помнит, что при пахоте был выпахан раз огромный тесаный камень величиной с большой стол. Под камнем же найти что-либо не удалось. Камень употреблен на хозяйственные надобности. После этого распашка кургана производилась еще много лет, и, наконец, был найден золотой щит. Надо предполагать, что под этим курганом похоронен какой-либо военачальник времен Александра Македонского, делавший поход на скифов».

Таким образом, сметливый Ситак, наученный адвокатом, стал заявлять свои права на бесценную находку на том основании, что ее обнаружили будто бы благодаря его отцу и деду. Они, де, год за годом методично распахивали курган, и когда до золота оставались считанные сантиметры, пришел Алейников и без особых усилий выпахал драгоценный плод многолетних трудов его, Ситака, предков. Такое обоснование прав последнего на находку было тоже весьма сомнительным. Однако суд мог решить иначе. Исход дела становился все более непредсказуемым.

По счастью, в него вмешался один из лучших ставропольских юристов по профессии и историк по призванию Григорий Прозрителев. Еще неоткрытые клады всегда были тайной страстью этого замечательного краеведа. Любовь к преданиям о потаенных богатствах жила в его душе с детства.

Прозрителев убедил обе стороны, не заводя дела в тупик, заключить мировое соглашение. Сокровища были куплены у Алейникова казной, а вырученными деньгами он поделился с Ситаком. Всего вышло около 37'000 рублей – сумма по тем временам действительно колоссальная. Довольные таким исходом, спорщики щедро одарили Прозрителева.

По случаю благополучного исхода тяжбы в январе следующего года в городской газете была напечатана следующая обнадеживающая заметка: «Вчера,

в среду, у нотариуса В.И. Манжос-Белого заключено условие между крестьянами села Казинского, Александровского уезда Ставропольской губернии, Александром Алейниковым, нашедшим в прошлом году много на шумевший клад, и Григорием Ситаком, владельцем земли, на которой клад был найден. Алейников уплачивает Ситаку 10'000 руб. с условием, что совершенную по домашнему договору продажу земли Ситак признает правильной и обязуется совершить на нее нотариальную купчую. Кроме того, Алейников обязуется уплатить тысячу рублей в пользу Ставропольской Архивной Комиссии. Ситак же – пятьсот рублей».

Императорская Археологическая Комиссия, выкупившая клад у его счастливого первооткрывателя, обнародовала черно-белые фотоснимки находок в своем отчете за 1910 год. «В селе Казинском, Александровского уезда, – гласил данный отчет, – крестьянином Алейниковым найдены были случайно в огороде различные золотые предметы (всего весом 39 фунтов 7 золотников 13 долей), которые затем были приобретены Императорской Археологической Комиссией. В кладе прежде всего обращают на себя внимание девять золотых больших шейных колец. Одно из них на концах украшено грубо исполненными лошадиными головами. Восемь колец имеют форму спиралей: три из них гладкие (одно разломано на две части), у двух на концах резные украшения в виде бус, у трех остальных украшения в виде фигур своеобразно стилизованных животных, вероятно лошадей. Золотое полое шейное кольцо, состоящее из двух половин, соединяющихся между собой особыми штифтами. Золотое шейное кольцо, украшенное на концах фигурами львов, терзающих быков; при извлечении из земли кольцо было помято и разрезано на две части. Пять браслетов из тол-

стой золотой проволоки в виде спиралей. Три колоколообразных золотых предмета разной величины с небольшими круглыми отверстиями в центре донышков». Такое вот сказочное богатство, равного которому еще долго не находили в целой России.

Присяжный поверенный Григорий Прозрителев, разрешивший конфликт между сторонами к их обоюдной выгоде, получил от них в качестве награды полторы тысячи рублей. Деньги по тем временам прямо-таки огромные, учитывая, что корова в деревне стоила что-то около трех-пяти целковых. Григорий Николаевич не посчитал возможным взять себе столь внушительный гонорар, полностью употребив его на обустройство Музея истории Северного Кавказа в городе Ставрополе. Теперь этот музей носит его имя.

Всем знатокам отечественной литературы эта история о музее, созданном на деньги, вырученные от находки клада, может напомнить один довольно яркий книжный сюжет. Я имею в виду эпизод из сатирического романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», где Дом культуры железнодорожников в Москве был таким же образом построен, благодаря драгоценностям, обнаруженным в стуле тещи Кисы Воробьянинова.

Случайно ли это совпадение? Возможно, что и нет. В 1910 году о ставропольской эпопее с сарматскими сокровищами писали все газеты, и Петров с Ильфом вполне могли тогда же и узнать об этом занятном происшествии. Уже в советские годы оба писателя работали в газете «Гудок», литературный отдел которой возглавлял известный в те времена прозаик и киносценарист Аарон Эрлих, родом из Ставрополя. Он дружил со своими знаменитыми коллегами-сатириками, много с ними общался и даже спас их однажды от репрессий.

Дело было так. Ильф и Петров выпустили в печать острый фельетон «Клооп», бичующий пороки советской бюрократии. Текст обратил на себя внимание самого Сталина, вызвав его недовольство. Вождь связался с «главным по литературе» Ильей Эренбургом, намекнув на необходимость разобрататься с «зарвавшимися борзописцами». Колеса репрессивной машины пришли в движение, но были вовремя остановлены редакционным начальником фигурантов дела – ставропольцем Аароном Эрлихом. Он совершил поступок, на который мало кто мог бы решиться в то суровое время...

Эрлих сказал высоким чином, желавшим призвать сатириков к ответу: «Передайте Иосифу Виссарионовичу, что я ручаюсь за Ильфа и Петрова. Такого больше не повторится. Под мою личную ответственность». Этого оказалось достаточно, чтобы незадачливых юмористов, над которыми начали сгущаться тучи, оставили в покое.

При такой профессиональной и даже дружеской их близости вполне вероятно, что Эрлих поведал Ильфу и Петрову случай с сарматским кладом, «материализовавшемся» в его родном городе в общественно полезное музейное учреждение. А писатели, в свою очередь, могли включить мотивы этой истории, творчески ее переосмыслив, в свой прославленный роман.

Наконец, дочь непосредственного участника этой истории, Ирина Григорьевна Прозрителева, была вхожа в столичные литературные круги, дружила с поэтессой Мариной Цветаевой. Почему бы не допустить, что кто-то из московских писателей узнал о кладе от нее и передал дальше в виде занимательной байки? Данный сюжет мог самыми разными путями дойти до Ильфа и Петрова.

Как бы там ни было, нельзя исключать той возможности, что этот яркий эпизод из истории став-

ропольского кладоискательства, преломившись в воображении сатириков, вполне мог попасть на страницы «Двенадцати стульев».

Что же касается дальнейшей судьбы этих сарматских сокровищ, то их фотографии вошли во многие учебники и хрестоматии под названием «Ставропольский клад». Ученые-сарматоведы всего мира прекрасно их знают. Ныне всякий может увидеть данный клад в экспозиции золотой кладовой Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Мне не раз доводилось рассматривать там этих сверкающих львов и драконов, добытых из-под казинского кургана. Впечатление, скажу я вам, непередаваемое!

В 1971 году Эрмитаж передал в Ставропольский краеведческий музей точные гальванокпии пяти наиболее характерных предметов этого знаменитого клада. Теперь они выставлены в археологическом отделе Краевого музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пправе.

Уже в наши дни другой сенсационный клад древних кочевников был найден учеными в Шпаковском районе – недалеко от Сенгилеевского водохранилища, в окрестностях Ставрополя. В августе 2013 года археологи, раскапывая там не обещавший ничего особенного, давно разграбленный степной курган, вставший на пути строящегося водовода, неожиданно открыли целую россыпь золотых вещей.

Три массивные гривны и столько же увесистых ювелирных заготовок пока неясного назначения, драгоценный перстень и пара чаш, богато украшенных фигурами из скифской мифологии – грифонами, терзающими коня и оленя, а также скифскими воинами, убивающими незаконнорожденных детей своих жен по возвращении из похода. Это золото датировано IV веком до Р. Х. и уже признано самым ценным кладом, обнаруженным в России за последние полвека.

Вне всякого сомнения, оно принадлежало скифскому царю, который, должно быть, обрел вечный покой в земле Ставрополья. Точнее сказать трудно, поскольку курган был «вычищен» грабителями еще в XIX столетии. В нем осталось лишь... золото. Оно было спрятано отдельным кладом, немного в стороне от основного захоронения, так что гробокопатели, по счастью, его попросту не заметили.

И такие находки не единичны. Об обнаружении еще одной сарматской гривны когда-то писала археолог Татьяна Минаева: «Шейная гривна с изображением сильно схематизированной головы животного, весьма близкая казинским гривнам, была найдена в 1897 году где-то в окрестностях Ставрополя. По донесению полицмейстера ставропольскому губернатору, обстоятельства ее находки довольно интересны. Слесарь Маликов в Ставрополе купил у неизвестного человека два куса “медной” толстой проволоки за 20 копеек. Проволока эта долго валялась в мастерской слесаря. Спустя почти год после покупки Маликов взял проволоку для изготовления медной гайки и тут обнаружил, что проволока имеет особый блеск и слишком тягуча. Тогда он обратился к золотых дел мастеру, который установил, что проволока золотая. По рассказу Маликова, продавший объяснил, что нашел ее в земле при выломке камня и что оба куса составляли один обруч, концы которого не были соединены. По распоряжению губернатора эти куски проволоки были доставлены в Археологическую Комиссию в Петербург, которая ответила, что присланная проволока составляет древнюю электроновую (смесь золота и серебра) шейную гривну. В Отчете Комиссии за 1897 год отмечено, что “по стилю гривна может относиться к римскому времени”».

В 1902 году в Императорскую Археологическую

Комиссию из Ставропольской губернии были присланы еще и «два золотые тонкие крученые браслета с широкою прямою нарезкою на концах и маленький медный котелок очень грубого литья, без ножки (может быть, она отпала), найденные при раскопке небольшого кургана близ села Ново-Егорлыцкого, Медвеженского уезда».

В 1914 году в Ставрополе снова заговорили об открытии большого золотого клада, но на сей раз громкая история окончилась, увы, ничем. Клад то ли успели быстро спрятать от властей, то ли слухи о нем действительно оказались ложными. По крайней мере, в отчете Ставропольской Архивной Комиссии сказано: «В городе распространился слух, что при работах на [железнодорожной] линии Армавир-Ставрополь в пределах Ставрополя найден рабочими клад золотых вещей. Комиссия сообщила об этом губернатору и запрашивала инженера-строителя и ставропольского полицеймейстера, и получен был ответ, что, по расследованию, слух этот не подтвердился».

И все же «золотая скифо-сарматская репутация» наших мест давала богатую почву для подобных слухов. На Ставрополье находили немало кладов, оставленных здесь и другими древними народами. «С аланским периодом, пришедшим на смену сарматскому, – писал Герман Алексеевич Беликов, – также связано много различных находок, в том числе и кладов. При земляных работах на территории Кисловодской мебельной фабрики был обнаружен бронзовый сосуд, в котором оказалось несколько десятков золотых монет времени правления византийского императора Юстиниана (527-561 гг.). Другой клад аланского периода был обнаружен в песчаном карьере возле Светлограда. На этот раз в

необожженном глиняном кувшине были арабские серебряные монеты. Эти клады позволили узнать географию торговых связей алан».

В Ставропольском крае объекты современной индустрии соседствуют с сокровищами глубокой древности, которые обладают не только материальной ценностью, но и большим значением для приумножения наших знаний о великой истории Ставрополья.

Сменившая аланское господство в Предкавказье эпоха Золотой Орды, в полном соответствии со своим блистательным названием, тоже рассеяла по нашей земле несметные бесценные памятники. «В Ставрополь, – вспоминал Герман Беликов, – был доставлен и клад из Кировского района, относящийся к татаро-монгольскому периоду. Это прекрасная серебряная ваза, орнаментированная мифологическими животными и птицами. Чеканным узором покрыт и ритуальный серебряный котел. Массивные золотые браслеты, тяжелые серьги, перстень с тонкой гравировкой загадочных надписей, футляр игольника из тончайших золотых нитей и другие драгоценности».

Древние кочевые народы – скифы, сарматы, аланы, половцы – давно ушли в небытие. Но после них под землей, словно тлеющие угли под золой погасшего костра, залегли сказочные богатства. Сколько их еще лежит в ставропольской земле, одному Богу известно. Однако все они гораздо ценнее, чем просто золото, из которого сделаны. Эти клады заключают в себе не только неоценимое наследство, доставшееся нам от исторических предшественников, но и рассказывают о грандиозном прошлом наших необыкновенных мест, оставаясь весьма немногословными, но все же отнюдь не безмолвными его свидетелями.

Дизайн и вёрстка: Е.А. Вотинцева
Корректор: Е.Л. Ясинская

Подписано в печать 22.08.2022 г.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,00. Уч. изд. л. 8,26.
Заказ № 703. Тираж 979 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Вектор-Принт».
650021, г. Кемерово, ул. Стахановская, 1-я, 39а.